

Дети Ра

журнал поэзии

3 (208)

2024

Международный журнал поэзии Союза писателей XXI века

Дети Ра

Сайт журнала <http://www.detira.ru>

ИЗДАТЕЛЬ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(Генеральный директор Евгений Степанов)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Александр Файн
Зураб Церетели

РЕДАКЦИЯ

Евгений Степанов (главный редактор)
Анна Романюк (1-й заместитель главного редактора)
Юрий Милорава (заместитель главного редактора)
Ольга Ефимова (редактор отдела поэзии)
Фёдор Мальцев (редактор отдела критики)

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Алексей Александров (Саратов)
Юрий Беликов (Пермь)
Сергей Бирюков (Халле, Германия)
Александр Давыдов (Москва)
Константин Кедров (Москва)
Евгений Минин (Иерусалим, Израиль)
Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург)
Юрий Орлицкий (Москва)
Сергей Попов (Воронеж)
Евгений Харитонов (Москва)
Атнер Хузангай (Чебоксары)
Элана (Саратов)

Автор обложки — Мария Губарь

Компьютерная верстка — Ирина Ракитина

Телефон редакции: тел./факс: (495) 978-62-75

E-mail: stepanovev@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ.....	5
-----------------------	---

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА НА КАРТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ

Сергей ПОПОВ. Старые титры. Стихотворения	6
Игорь ПАНИН. Провинция гуляет до утра. Стихотворения	17
Сергей КАРАТОВ. Линия любви. Стихотворения	20
Константин КЕДРОВ. Две поэмы	24
Виктория МАМОНОВА. Угол зрения. Стихотворения	36
Борис БОРУКАЕВ. От и до. Стихотворения	39
Евгений СТЕПАНОВ. В окрестностях Поэтограда. Стихотворения	42

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Александр ГАБРИЭЛЬ. Раскрашенный трамвай. Стихотворения	46
Сергей АЛИХАНОВ. День-деньской. Стихотворения	55
Виталий ШТЕМПЕЛЬ. В самом деле. Стихотворения	58

ПОЭЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

Маргарита МАМИЧ. Маятник стрелок секундных. Стихотворения	64
Павел ЩЕРБАКОВ. На предрассветном фоне. Стихотворения	68

ЛИТОБОЗ

Павел ЩЕРБАКОВ. Обозрение литературных журналов	74
--	----

ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

Атила БАЛАЖ (Balázs F. Attila). В этом сиянии жизни и смерти. Стихотворения <i>Перевела с венгерского Мирослава МЕТЛЯЕВА</i>	79
--	----

ИНТЕРВЬЮ

Евгений СТЕПАНОВ: «Я запечный сверчок...». Интервью Беседовал Николай ФОНАРЁВ	83
--	----

ПРОЗА ПОЭТА

Юрий КАЗАРИН. Немтырь. Думающий стихи. Роман.	89
--	----

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ. Март–июнь 2024 года	107
---	-----

ШТУДИИ

Борис КОЛЫМАГИН. Геннадий Айги и русская классика. Статья	108
---	-----

NOTA BENE: КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА

Прочитанные книги: Vladislav Chodasevic. Europäische Nacht. Европейская ночь. Gedichte. Russisch/Deutsch. Üb. von Adrian Wanner. Arco.	112
---	-----

РЕЦЕНЗИИ

Книги читали: Ольга ЕФИМОВА (Лукин И. Б. (Иван Соловей), «Я НЕБО») Павел ЩЕРБАКОВ (Вячеслав Харченко, «Русалка») Ольга ЕФИМОВА (Уильям Эрнест Хенли, «Избранные стихотворения») Павел ЩЕРБАКОВ (Вера Сажина, «Вторая книга») Герман ВЛАСОВ (Ольга Сульчинская, «69 стежков») Павел ЩЕРБАКОВ (Сергей Попов, «Прямая наводка») Александр БАЛТИН (Юрий Казарин, «Боль»)	114
---	-----

Дорогие читатели и авторы!

Гремят пушки. Льется кровь. Одна беда приходит на смену другой.
Но жизнь продолжается.
Но люди творят в любую эпоху.
Поэты и прозаики пишут стихи и прозу.
А мы, издатели, эти произведения публикуем.
В этом номере есть что почитать.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Сергей ПОПОВ

СТАРЫЕ ТИТРЫ

* * *

Эники-беники ели варе...
Школа в рассветном горит январе.

Пламенем синим, индейским огнем
здешней киношки охвачен объем.

А вместе с Б восседала на тру...
В зальчике яро знобит поутру.

Чинч по раскладу сценария гук —
старый «Смит-Вессон» покруче наук.

Если не спрятался, я не вино...
Прямо в упор убивает кино

там, где герои живут наповал
выше насмешек и всяких похвал.

Затемно лесом спешила маши...
Прямо до прерии, где ни души.

Камни, стервятники, ржавый песок,
русло забвения наискосок.

Месяц не выйдет никак из тума...
Нет у шерифа ни капли ума...

Сергей Попов — поэт. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Арион», «Москва», «Дружба народов», «Дети Ра», «Юность», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Волга», «Зинзивер», «Новая юность», «Футурум АРТ», «Литературная учеба», «Крещатик», «Подъем» и других. Автор многих книг стихов и прозы. Победитель Международного поэтического конкурса «Перекресток» (Германия) журнала «Крещатик» (2007). Обладатель Специального приза Союза российских писателей Международной Волошинской премии за лучшую поэтическую книгу года (2010). Лауреат премии журнала «Дети Ра» за лучшую поэтическую публикацию года (2011). Лауреат премии литературной газеты «Поэтоград» за лучшую поэтическую публикацию года (2011). Лауреат премии газеты «Литературные известия» за лучшую поэтическую публикацию года (2014). Лауреат премии «Писатель XXI века». Член ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр), Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Живет в Воронеже.

И дурака настигает стрела
там, где январь докрутился дотла.

* * *

Гудит-не смолкает упрямая медь
по фильмам, где стоит ли тетю иметь,
вопрос понимается прямо.
И в камере строит Леонов козу,
и Буба глазеет на горы внизу,
где зреет воздушная яма.

И непоправимый плывет звукоряд,
где титры под занавес дико горят,
но свет не включается в зале.
И переполняет стрельба темноту,
и прочь от шерифа летит Виннету,
чтоб вскрости не повязали.

Мелодия тьмы и разрывы кругом
во времени сосуществуют другом,
и парятся парки другие,
чтоб не прекращало слепое кино
накручивать нитку на веретено
раскрученной драматургии.

Там были большими деревья вокруг,
где ветки вовсю отбивались от рук —
и нынче не видно массива.
Но музыка этих невидимых сфер
сама по себе укрупняет размер
того, что смотрелось красиво.

И родина — это лишь зренье и слух,
покуда земля превращается в пух
во славу экранного чуда,
где старые титры горят как вода,
а стало быть, не уплывут никуда
от радости из ниоткуда.

* * *

Он плел, что дед в тридцать седьмом
нашел на лестничной площадке
уездной барышни альбом,
где снов теснились отпечатки.

Смеялись ангелы с небес,
цветы разлуки зацветали...
Ведь был сосед и вдруг исчез —
но это общие детали.

Глядели с выцветших листков
слова про жуткие измены...
Жил-поживал и был таков
служитель местной Мельпомены.

Квартировал один сезон,
срывался в страшные загулы...
«Ужели это был не сон,
и от любви сводило скулы?»

Неслись в распахнутую дверь
наркомов радиоприветы...
«Мой приснопамятный, поверь,
душа не канет в струях Леты».

И не решился заглянуть —
лишь подобрал, что уронили...
«Земной оканчиваю путь,
но не забуду и в могиле».

Сначала выкинуть хотел,
потом толкнуть на барахолке...
Но сам попал под беспредел —
одни осколки да наколки.

Да непомерная труха
страстей под ветхим дермантином...
Страна родна и широка
в оцепенении едином.

И как беде ни прекословь,
та огрызается вначале...
«Была без радости любовь,
разлука будет без печали».

И криком сорвано с цепи,
молчанье катится на сцену...
Лишь внук твердит «купи, купи»,
пугаясь выговорить цену.

* * *

Здесь Клигман доходный выстраивал дом,
выпрашивал в банках кредиты —
то все же давали с великим трудом,
а то говорили: «Поди ты...»

И кованым солнцем светился фасад,
решетки цвели на балконах.
И радуга больше столетия назад
играла на стеклах оконных.

Здесь «Первого мая» кооператив
в двадцатых лепил коммуналки,
и пил председатель, суров и ретив,
и взносы взымал из-под палки.

Здесь запросто даже водила гусей
и мелкую живность жилища...
Но звал жилотдел с непреклонностью всей
на классово близких не злиться.

И мне довелось тусоваться в одном
из этих позорных пристанищ,
когда все на свете летело вверх дном
и гусь был свинье не товарищ.

Печальная дама на самом верху
почти в облаках обитала.
Таких на моем не бывало веку,
хоть всякого было немало.

И звезды являлись намного крупней
глядящим на них из-под крыши.
И зрела уверенность, будто бы с ней
возможно подняться и выше.

Она украшала нору как могла
и стряпала, как не умела.
И непоправимые наши дела
мешали дышать то и дело.

На лестничной клетке сиял «Виллерой
и Бох» под ботинками буки...
И кажется, мы говорили порой
о традиционной разлуке.

И гневно в ответ пламенела луна
за рамой из черного бука...
И радость светилась, нема и полна,
где слово — напрасная мука.

* * *

Л. Ш.

Над грязью проспекта безумный летит Леонид
и знает, что некто за ним из кафешки следит
и пуще проказы и прочих крошечных удач
пугается фразы, что все воскресает — хоть плачь.

Хватило нахрапа войти в метеорный поток
персоной нон грата, забившей на Ближний Восток —
из обетованной без спросу восставши земли,
воздушной ванной он тешится нынче вдали.

Он видеть не хочет того своего двойника,
что с водкой хлопочет, уже окосевши слегка,
и смотрит на небо сквозь низкие дни ноября,
как будто потреба высот заземлилась не зря.

Сквозят Леониды в ночах чумовой головы,
по весям обиды идут без зазрения на вы.
И перец у стойки куражится точно живой,
и дым на востоке как нимб над его головой.

Он пламень летучий, он спирт, он похмельный кошмар,
он кажется тучей окрестному выводку шмар.
Он видит их сверху, как встарь беспардонно любил
ушедшему веку отсалютовавший дебил.

От облачных пятен он глаз оторвать не силен —
ему непонятен предзимнего сна небосклон,
где мчит соглядатай незнамо зачем и куда,
для форсу поддатый, как и полагалось всегда.

И кривде переча, подсвеченный кратким огнем,
рыдает предтеча в нечистый оконный проем
о том, что уму запахло обращаться во тьму,
но если смеркается заживо — быть по сему.

* * *

С Воронежем он расставался легко —
загул и нелепая драка —
стяжатель побед, подпоручик Лойко,
стервец без печали и страха.

До подвига дикой душой распростерт
и в скуке провинции заперт,
писал, что хотел не во фрунт, а на фронт,
и слезно просился на запад.

Уже новый год приближался и жег —
пятнадцатый в шалом двадцатом —
а он все надеялся на посошок
дерябнуть и выдохнуть матом.

От здешних девиц воротило с души
и от командиров тошнило —
хоть сдуру стреляйся, хоть рапорт пиши
о том, что милее могила.

Но жизнь подмигнула, и карта пошла,
и штаб разразился депешей,
что воину суша отныне мала
и в небо отправится пеший.

Барона Буксгевдена летная часть
и авиашкола на Каче...
И вместо решимости жертвою пасть —
капризные крылья удачи.

«Моран-Парисоль», истребитель «Ньюпорт»,
румынские заросли в дымке...
Владимиром жалован, Анною горд,
он с шашкою на фотоснимке.

Отвязный угонщик, чумной дезертир,
растрава чекистского ока,
с семьей из-за лишних ее десятин
расстался, спасаясь от срока.

И даже когда угодил на Вайгач,
тайком сочинял самолеты
и не растворялся — хоть смейся, хоть плачь —
в наплывах полярной дремоты.

Ему Водопьянов стволом угрожал,
недремлющий сталинский сокол,
и он подчинился, но не угождал
в горячечных снах о высоком.

Когда же случайная бритва для вен
в пустой медсанчасти мелькнула,
он вспомнил, что смерти не будет взамен
моторного стука и гула.

И не подфартит вознестись задарма,
какая бы фишка не перла
в местах, где всегда квартирует зима
и хлещет безумье из горла.

* * *

Колгота курортного разлива
в недрах черноморского тепла —
облачное олово, олива
над окном у самого стола.

Дождь под стать кромешному застолью,
по раскатам — хохот громовой
после воздыханий по застою,
ядерной поросшему травой.

Евстигнеев, Крамаров, Миронов
прячутся в прибрежной полосе
от атак пикирующих дронов
и проклятья сыплют как и все.

Ни в дугу сценарная раскладка
и распределение ролей —
потому, где рвется — там и сладко,
как о киноленте ни жалеи.

Под прикрытьем пасмурной бравады
хороши и хаши, и вино —
чем богаты, тем всегда и рады
там, где радость кончилась давно.

Пусть на побережье непогода,
на столе разруха и бардак,
первачи времен противохода
счастье покупают за пятак.

Кинематография возврата
беспробудной трапезе сродни,
где кумар накатывал на брата
как нарочно в съемочные дни.

И братаний здешние осадки
бурым крапом стелются по дну —
взятки с разорвавшегося гладки
как во всех картинах про войну.

* * *

Время идет по верхам и вбок,
кроны ревут навзрыд.
Все образуется, видит бог,
с пением аонид,
с опровержением немоты,
с опереженьем тьмы.
Прикорневые дрожат кроты,
трудят свои умы.
Что за умение — вкривь да вкось —
а по-иному — нет?
Все, что горит, оторви да брось
в жерло ушедших лет.
Там, где подземный гудит костер
и от слезы рябит,
страх меж кореньями распростер
нити своих орбит.
Что за несносный на небе рев —
будто бы, озверев,
время заполнило до краев
всю высоту дерев.
И притаясь в языках огня,
все низвело дотла,
чтоб наблюдатель, золу храня,
правил свои дела.
«Все образуется, — говорил,
точно слепец какой. —
Слову не надобно стрел и крыл,
будет ему покой.
Жизнь — это лава, а не слова —
в том она вся и есть,
что на разрыв голосит листва.
Это благая весть».

* * *

По сентябрю, шепотному как встарь
сызнава детский читаешь букварь.

Те же значки, но бессильны очки
подрихтовать чумовые зрачки.

По беспределу войны и чумы
просишь у прошлого буквы взаймы.

Но неизменно мешает слеза —
ежели против и ежели за.

Буквы кривляются, строят носы,
щерятся словно военные псы.

Новый учебный куражится год:
птичками знаки во весь небосвод —

азбука мира в изводе добра...
В школе решительно все как вчера.

* * *

Нет башке натруженной покоя —
отменяет разум без труда...
По легенде жили-были двое,
лобызались в парке иногда.

Сердце с лавок прыгало на ветки,
бесновалась общая слюна.
Умопомрачительной расцветки
красовалась наглая луна.

И при распадающемся свете
прорастали праздники из тьмы,
где на соблазнительной планете
от сумы рукою до тюрьмы.

Нагота цвела напропалую,
ночь ложилась на аттракцион,
чтоб телеграфировать «целую»
ладилось затмению вдогон,

чтобы работяги зелентреста
до крутых зазимков берегли
самое безбашенное место
по раскладу стынувшей земли,

чтоб на почте тетки не скучали
среди заносов пасмурной Москвы
и не хороводились печали,
разрастаясь выше головы,

выше лесопарковых посадок
и светил в космическом снегу...
На переживания не падок,
мир двоится через не могу.

И не выгорает воедино
ярусы разъятия свести
из очередного карантина,
непреодолимого почти.

По пятам запальчивого смеха
со слезами-вспышками внахлест
бродит неуступчивое эхо
среди опавших к заморозкам звезд.

Поздний лед, прозрачная облатка,
списанная махом на ковид,
низвести до нервного припадка
нынешнее небо норовит.

Но двоим, из времени приличий
вечно вылетающим в трубу,
и садовник машет, и лесничий
со звездой безвременья во лбу.

Игорь ПАНИН

ПРОВИНЦИЯ ГУЛЯЕТ ДО УТРА

* * *

Я впереди, а взрослые отстали,
какой-то праздник, лозунги, шары;
исследую подошвами сандалий
неровности асфальтовой коры.
В толпе не мудрено и затеряться,
но не боюсь, да втайне и хочу.
Мне на пломбир дадут копеек двадцать
и дружески потреплют по плечу.

Но странная тревога подступает,
когда уже не радуется игра.
Пусть бедная, однако не скупая
провинция гуляет до утра!
И матюги с завидным постоянством,
и мордобой словам таким вослед;
советское отчаянное пьянство
мы ясно постигали с юных лет.

А выйдя на прогулку в девяностых,
нашли в кустах заманчивый Royal...
Я представляю пыльные погосты
и пью за тех, кто все же устоял.
Тому еще дана была закалка,
а тот и отводить не думал взгляд...
Ровесников не то чтоб очень жалко,
но праздники меня не веселят.

Игорь Панин — поэт, публицист, литературный критик. Родился в 1972 году в г. Новохопёрск Воронежской области. В конце семидесятых переехал с семьей в Грузию, где окончил среднюю школу и Тбилисский государственный университет (факультет филологии). Автор нескольких книг стихов, публиковался в журналах «Континент», «Дети Ра», «Крещатик», «Дружба народов», «День и Ночь», «Нева», «Зинзивер», «Сибирские огни» и др. С 1998 года живет в Москве. Долгое время работал в «Литературной газете», был обозревателем, возглавлял отдел литературы, редактировал сайт издания.

МОЛОДОСТЬ

Пашем, будто прокляты,
а в конце недели
надерешься впрок ли ты,
если еле в теле?
Утомились праздновать —
головная боль же!
А народу разного —
до хрена и больше.

В кресла все попадали
сборищем бывалым;
здесь поштучно — падали,
простофиль — навалом.
И хрустишь ключицами,
маясь без кровати.
Утром подлечиться бы,
но на всех не хватит.

Я такой же в точности,
никого не лучше.
Неохота в ночь нести
выжимки получек.
Прозябаем в офисе,
потны и патлаты.
Здесь, согласно описи,
царские палаты.

Были ведь студентами,
думали о славе...
Дрыхнем не раздетыми,
скучными ослиами.
Соберу-ка вещи я
да нашарю выход.
Темнота зловещая
не сулит мне выгод.

Набегут дела еще —
хоть с размаху бей их!
Голос в трубке лающий
у подруг обеих.
И с рассвета, веришь ли,
взвинчен до предела...
Был бы я теперешним —
я бы знал, что делать.

* * *

Долго весна наступать не решалась,
некуда ей торопиться,
хоть призывала, давила на жалость
глупая птица-синица.
Мира картина вполне однобока,
тру безучастно виски я.
Есть на меня еще планы у Бога,
только неясно — какие.

И остается прохладным апрелем
шляться дворами спокойно
и любоваться асфальтом опрелым,
снежные горы — на кой нам?
Самое время не верить в приметы,
думать о чем-то хорошем
(все же сейчас не в далекой тюрьме ты,
всеми забыт и заброшен).

Не зарекайся и не зарывайся,
дни отмеряя по четкам.
И если жизнь не течет в ритме вальса,
значит, в программе чечетка.
Что там случится в дальнейшем с тобою,
не подлежит пересказу.
Будет и солнце, и счастье любое,
только не всем и не сразу.

Сергей КАРАТОВ

ЛИНИЯ ЛЮБВИ

КАЧЕЛИ

Вписавшись плавно в полукруг,
Вперед-назад скользят качели,
А воздух гладок и упруг,
Как гибкий стан виолончели.

Так инструмент поет, звенит,
В двух струнах, к облаку летящих,
Безумной песней Аонид,
В границах жизни настоящей.

ЛИНИЯ ЛЮБВИ

Бери, цыганка, все, что в кошельке,
я все равно неизлечимо болен.
А вот рука
и, судя по руке,
я с линии любви свернуть не волен.

Так думал я в недавние года...
Но за восторгом тянется усталость,
и как-то незаметно,
без следа,
любовь исчезла.
Линия осталась.

ИГРА

Какие прихоти судьбы
Познать приходится порой.
Все,
что дается без борьбы,
Воспринимается игрой.

Ты прислоняешься к плечу,
Не видя рядом никого.
А я возьму и улечу
В колечке дыма твоего.

ОТСВЕТЫ

Нам дарят лучи уходящие
Последние отсветы нежные,
По заводям тихим скользящие,
Плодящие мысли неспешные.

.
Пройдутся по рощам березовым,
По соснам, стоящим над склонами,
И станут окрашивать розовым
Стволы их и ветви с изломами.

.
И окна, и крыши расцвечены
В поселке, к горе притулившемся.
Мы светом Господним излечены
Под вечер на землю пролившимся.

3 августа 2023 г.

* * *

Пораньше встань, удачу не прохлопай,
Задрало солнце хвост за небеса...
Родился я, где Азия с Европой
Сплелись, как два сиамских близнеца.

Начало лета, и в цвету калина
Вселяет и надежду, и восторг.
В душе моей сошлись неразделимо
Два символа, как Запад и Восток.

К воде ль спускаюсь, восхожу ли в гору,
Лукошко ль ягод из лесу несу,
В Уральской тверди признаю опору
И самоцветов чувствую красу.

22 марта 2022 г.

ВОЛНУЮЩАЯ ТЕМА

Поэт вопросом задается,
Гуляя в тютчевском плаще:
— Как слово наше отзовется?
И отзовется ль вообще?..

ТАМ, НАД МИРОМ

Что над крышей лубяной,
Что там в небе надо мной,
Что там в поле, в клеверах,
Что там в ельниках, в горах?

Что там, спрашиваю я?
Все знакомые края...
Там жила твоя семья,
Там парит душа твоя.

Что влечет тебя домой,
Летом жарким иль зимой?
Дом до крыши в серебре,
Дед хлопочет во дворе.

Мама, бабушка, сестра —
 Все здесь заняты с утра.
 Свод небесный полосат,
 Щами пахнет детский сад.

Воз груженный у ворот,
 Дед ладошкой ухо трет.
 Воротился к тем летам,
 Что удерживает там?

Там, над крышей лубяной,
 Там, высоко надо мной,
 Там, под облаком седым
 Невозвратно молодым?

19 ноября 2016 г.

Константин КЕДРОВ

ДВЕ ПОЭМЫ

ГИПЕРЗВУКОВАЯ ПОЭМА

На каждое телодвижение
Есть правило стихосложения
И знай: все будет, как положено
Когда на музыку положено
Стиха стихия необъятная
Понятная и непонятная
Когда купаюсь в звездной пене я
Стихи такие же созвездия
Я убедился, что на практике
Поэты звездные галактики
Боже! Мы ли это были?
Так смеялись! Так любили!
Боже! Я ли это был?
Так смеялся... Так любил...
Вручили мне медаль Толстого
Великорусского святого
А может и еретика...
Зато уж точно на века
Несоответснее...
Несоответствие...
И все отверстнее
Небес отверстие...
Боже, заставь меня мыслить сложнее
Много нежнее и много важнее
Я нахожу тебя в мире неведомом
Мне недоступном, но проповедомом
Я набросал эту фреску небрежно
Знаю что встреча с тобой неизбежна
Про неизбежность намеченной встречи
Напоминает мне музыка речи

Константин Кедров-Челищев — поэт, критик, издатель. Родился в 1942 году в Рыбинске. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор Литературного института имени А. М. Горького. Издатель и главный редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.

Музыка тайна... Музыка тайна...
Я говорю себе: «Живо хватай, на!»
Словно из облака вылеплен облик
Облако облика... Облика облак
Что-то воссоздано из Мироздания
Но невозможно второе издание
Ныне я только тебе доверяю
И нахожу тебя словно теряю
Слышу твой голос и моно и стерео
И продолжается жизни мистерия
Все нереальное мистериально
Мистериальное значит реально
Я обитаю в пространстве твоём
Если мы были то только вдвоем
Только вдвоем оживает живое
Истина кроется в том, что нас двое
Диктую и пишу без опечаток
Возможно, что во мне твой отпечаток...
Ты часто не печаталась
Но в сердце отпечаталась...
Люблю тебя в наряде школьном
Таким привычным и прикольным
Как крылья бабочек два банта
Сопровождение таланта
И в мире сем, и в мире том
Всегда талантлива во всем

Пространство прошлого податливо
Ты в нем впечатана талантливо
Два ангела соприкоснулись
Заснули вместе и проснулись
Романтика и математика
Любви извечная тематика
Всегда и всюду говори ей:
«Садовник встретился с Марией!»
Сады Садовнику подвластны
Сады словесные прекрасны
Распахнуты все Выси, Веси
Мария в Космосе Воскресе!
Соприкоснулись Выси, Веси
Мария в Космосе Воскресе!
Сад осеняет ветром пряным
Воспрянешь ты и я воспряну
Садовник плачущий у гроба

Утешится: воскреснут оба
Мир ментальный моментальный
Мир астральный магистральный
Восходя по ленте Мёбиуса ввысь
Оброняю собственную мысль
Обгоняя собственную мысль
Восхожу по ленте Мёбиуса ввысь
Вижу многое и многое не вижу
И чем дальше от себя тем ближе
Мне диктуют или я диктую
Повторяю истину святую
Все неправильно. Я исправил.
Умер дядя нечестных правил
Извивается, дрожа,
Фет на острие ножа
Нож, пронзающий грудь Кармен,
Жаждет Родина перемен
Завалю Кармен, как быка,
Примыкает к строке строка
Тайна истинного таланта
Снова Фет переводит Канта
Полыхнула заревом аура
Переводит Фет Шопенгауэра
Вот такое, друзья, явление
Мир как воля и преставление
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, нейросети
Притащили мертвеца!»
Прибежали снова в избу дети
Вся семья Ивана-дурака:
Золотая рыбка в нейросети
Выполняет просьбы старика
Взревновал к Озирису Сет
Затолкал его в нейросеть
Тысяча лет или двести
Родина там где мы вместе
Но не решить теоремы
Кто мы, и что мы, и где мы
Что так случилось ненароком
Я был поэтом стал пророком
Меняю все свои пророчества
На тишину и одиночество
Молниями молится Илья

Илья молится или я?
 Паша пашет, Маша машет
 Идиллия на поле боя:
 Трава и небо голубое
 Копилка памяти бездонна
 Елена разума мадонна
 Я многого не понимаю
 Но бесконечности внимаю
 Внимай, внимай, внимай, внимай
 И все что сможешь понимай
 Давно я понял: истина невнятна
 Все, что понятно — временно понятно
 Сеанс любви как фильм Кокто
 Где непонятно кто есть кто
 В душе таится снов когорта
 И ждет повторного просмотра
 Иду к тебе дорогой торной
 Чтобы узреть сеанс повторный
 Но четко соблюден баланс
 Одна любовь — один сеанс
 В сеансе жизни нет проката
 Лишь отгремевших гроз раскаты
 Раскаты отгремевших гроз
 И грезы, грезы, грезы грез

Все ночи без тебя бессонны
 Снов неразгаданные сонмы
 Законченных сюжетов не бывает
 Все обрывается, но оживает
 Художник израсходовал все краски
 У жизни есть завязки нет развязки
 Как Одиссей запутавшийся в сеть
 Я ухожу в другую нейросеть
 Озириса убил коварный Сет
 И тотчас же запутал в нейросеть
 Весною хоры оглашают клирос
 Когда же Сета разорвет Озирис
 В сетях рыбацких Золотая рыбка
 Пускай нас озарит ее улыбка
 Закинь свой взгляд
 За сеть координат
 Закинь свой взгляд
 И будь немного «над»
 Есть два пути: в себя и из себя

Плыви вперед отчаянно гребя
Храм золотой поджег Мисима
И приключилась Фукусима
За взором взор, за взором взор
Плетет Чюрленис свой узор
Гляжу на Врубеля «Сирень»
И слышу пение сирен
И заглушают патефоны
Сиреневые граммофоны
Гроза прошла и куст сирени
Томится от прохладной лени
Звучит стихая и вызывая
Сирена гиперзвуковая
И ты услышь протяжный вой
Поэмы гиперзвуковой
И ты, и я, и он, и все мы
Герои Гиперзвуковой поэмы

2024

МИРОЗДАНИЕ КАК СТИХОТВОРЕНИЕ

Урожай запретных плодов
в середине райских садов
Нам с тобою не повезло
мы познали добро и зло

Не раз любить
неразлюбить

Жизнь кроссворд
его не разгадать
но приятно думать и гадать

Я дожил до возраста Фета
Кто-то скажет песенка спета
Так хотелось бы все успеть
Ну а я продолжаю петь

Жизни незаполненный кроссворд
 Кто-то виндоус переводит в ворд
 Кто-то наши планы пародирует
 И судьбу мою судьбу кодирует

В книге жизни есть свои закладки
 В них ответ на мои загадки

На канате нерва я пляшу
 И пишу пишу пишу пишу

Знаю я судьбы своей вассал
 Книгу жизни я не дописал

Доверяя мыслям и словам
 Я пришел из будущего к вам

Ну-ка глянь
 в инь из янь

Как каторжник идет в Сибирь
 Поэзия всемирный поводырь

Все мастера творят для Маргарит
 А Маргарита мастера творит

Я каждый день приветствую как чудо
 Пришедшее неведомо откуда

Не знаю я пишу или читаю
 Но над гнездом кукушки пролетаю

Я вспоминаю все что позабыл
 Когда я не был и когда я был

Мысль бумеранг она к тебе вернется
 Проснется мозг и сердце встрепенется

Я знаю что мечты и звуки
 Не подчиняются науке

Наш мир конечно не изучен
 Но он поэтами озвучен

Буки ве́ди аз и буки
Все вокруг мечты и звуки

Зайди по лестнице крутой
Влекомый звуком и мечтой

Я жизнь свою как стих заучиваю
Когда мечту свою озвучиваю

Вы слышите мечты и звуки
Переполняют ноутбуки

О сколько в нашем мире откровений
И чудных неозвученных мгновений

Жизнь черновик
пока живешь и дышишь
Ты набело его
не перепишешь

Моей поэзии палитра
Стихов невнятная молитва
Твори́сь поэзия твори́сь
Твори́сь и рифмами моли́сь

Я прекратил нелепую борьбу
Я перестал испытывать судьбу
Но как бы не было душе устало
Судьба меня пытаться не перестала

Так получается что откровения
Приходят к нам когда мы откровеннее

И поражают мощью глубиной
Все тексты не написанные мной

Все книги не написанные мной
Влекут меня сегодня в мир иной

Теорема не решена
Жизнь всегда не завершена

Сегодня горе не от ума
Всемирный разум сошел с ума

Мир оборвался в середине фразы
Обрушивая Скрябина экстазы

Пуškai поэт поэзии поможет
И жизнь свою стихами приумножит

В чем смысл несъеденных плодов
Средь райских неземных садов

Есть волшебство взаимопониманья
Единственно достойное вниманья

Тебе и мне известное заранее
Святая мания взаимопонимания

Единой мысли соприкосновение
Будто рука к руке прикосновение

Однажды мы с тобой соприкоснулись
И к вечной тайне мира прикоснулись

Я эту тайну выразить не смею
Но говорю об этом как умею

А что такое рифма только эхо
И на пути в неведомое века

Как странник бесприютный и бездомный
Пойду по миру рифмою ведомый

Идя за тобой я себя обогнал
И понял что это еще не финал

Пуškai Скорпион к Водолею стремится
Внезапно я понял исчезла граница

Еще что-то шепчет оглохший Бетховен
Внезапно я понял наш мир зарифмован

На весах стыда и совести
Нежным ангелом несомый
Приобщаясь к невесомости
Становлюсь для вас весомым

Помню как обняв друг друга
Мы светились и сияли
Я ли ты ли ты ли я ли

Мир собою переполнить
Можно если полюбить
Можно все забыть и вспомнить
Можно вспомнить и забыть

Оба в звездной центрифуге
Мы вращаемся вдвоем
Превращаемся друг в друга
И друг друга узнаем

Пусть все мысли необъятны
И невнятные все слова
Непонятное понятно
И поэзия жива

Мысли чувствами теснимы
Возникает чувство мысли
Все вокруг необъяснимо
Все в другом каком-то смысле

Воспарить бы воспарить бы
С милою смежая веки
Вот бы с ней поговорить бы
И уснуть вдвоем навеки

Стихи для вас сложив
Сознаюсь что я жив
Вот истинное знание
Признание и призвание

Спокойно спи поэт
И оставайся в тени
Во сне в стихах воспет
Во сне ты понят всеми

Все не понятно
Все необъяснимо
Я знаю твердо
Истина гонима

Есть подлинное и конечно мнимое
Но знаю точно истина гонимая

Моя душа на истину настроена
А почему
да просто так устроена

И Гоголь восклицал Ах птица-тройка
На истину высокая настройка

Снова небо звездное
Океан колышет
Но никто не видит
и никто не слышит

Я полюбил или ты полюбила
Все это в сердце оставило след
Трудно поверить что все это было
Трудно поверить что этого нет

Я знаю точно в мире сем
Все зарифмовано совсем

Я знаю точно в мире сем
Все зарифмовано со всем

Есть правило стихосложения
Себя в словах своих сожжение

Я всех всегда предупреждаю
Иду на Вы и побеждаю

Я не могу не побеждать
Когда нисходит благодать

Мой стих безропотный не сносен
Поскольку он победоносен

В стихах победа неизбежна
Когда все трепетно и нежно

Пиши стихи преображайся
И к небу словом пригвождайся

Я побежден я побежден
Когда словами пригвожден

На небе золотые гвозди
Висят как винограда грозди

Ах этот звездный виноград
Моя награда из наград

Недавно осознал что это
Стиха непризнанного гетто

Не правда ли все это мило
Произнесла Углова Мила

Рифмуйся стих со всей природой
Своей невысказанной одой

И даже о
Адажио

Слова в стихи не вмещаются
И в динозавров превращаются

Луч прилучается к лучу
И я опять к тебе лечу

На это есть своя причина
Не догорай луча лучина

Когда-нибудь договорю
Но все равно не догорю

Стиха живого соразмерность
Античность это современность

Пусть будет готика стиха
Тиха тиха тиха тиха
Тиха тиха тиха тиха
Живая готика стиха

И даже осознание рока
Витиевато как барокко

Иду из выхода во вход
А мой уход всегда приход

Исход из собственного я
Исход в руладу соловья

Рулады в горле тяжелеют
И всех жалеют всех жалеют

Пусть сокрушает недра ада
Моя словесная рулада

Познания плод всегда не спел
Но я успел и что-то спел

В стихе рифмованном в верлибре
Трепещат крылышки колибри

В стихах магическая тяга
Легка как белочка летяга

В России трепетно живет
Но остается что поется

Это очень странное явление
Удалось воздвигнуть это здание
Мирозданье как стихотворение,
И стихотворенье — мироздание

2024

Виктория МАМОНОВА

УГОЛ ЗРЕНИЯ

* * *

По водам, по весенним и прохладным водам
я отпускаю черный хлеб с солью земли
в золотистый полдень.

Юноши открывают родники четырех сторон света,
деревень ветхих, душ летних —
ключ ключей звенит.

Я смешаю лед из семи ручьев в животворный сок,
от ветров возьму семена межи:
пусть растут в междумирии травы и цветы.

Девушки с утра, лишь взойдет заря,
расстилают вдоль скорби и любви серые холсты —
более версты тканый оком.

Скатерть-круговерть выбелена впредь,
где идут дары через всю седмицу от великой Пасхи,
там и соловьиный день.

* * *

нет, не слово прерывает фон безмолвия,
а его внезапное обнаружение в составе воздуха;

в пересобранных структурах вещей
объем и плотность — моделировка; условность —
пересечение сближенных областей;

сколько еще таится за корпусом величин, мерцает —
бабочке снится сияние ангельских крыл.

* * *

В заброшенных событиях искажен угол зрения,
 вещи погружаются в свою глубину;
 их пропажа незаметна — пустоты заполняют слова.
 Начни с последовательности
 вещей-объектов и слов-объектов. Сродни ритму
 размеренное восприятие зрячего слепца.

Тускнеют в рамах зеркала. В оставленных домах
 пылятся полотенца на антресолях.
 Засушенные розы в вазе — более не знак, а череда,
 тиснение вместо памяти; на бронзе —
 гравированные даты, пожелания и чьи-то имена —
 подробные в деталях натюрморты.

Кто отступил в забвение, тот вытеснен, — да только
 суждение — суэта делений без конца.
 Раскрой, раскрой свои по-разному звучащие сердца
 в пульсацию момента, в каждый дом,
 что ежечасно прирастая расширяется до горизонта,
 пока не переступит рубикон.

Раскрой, раскрой свои глаза на явное, не облеченное в слова.

* * *

Там, где служанка обиды — младшая из сестер —
 ткала в памяти причудливый ковер,
 вошла в рост соленая лебеда.

Я скажу тебе через призму совершенных слов —
 тебя все-таки любили,
 но позволить считать себя лопухами — уволь.

Это ты — из молока горных коз и спелой земли —
 одна из трех дарительниц семейных хлебов,
 воспевала долину крылатых львов.

Вольный воздух тяготит любой исток.
 Но июньское небо растает в небе июля,
 карта боли сойдет прежде дождливых следов.

* * *

Птицы рисуют птиц.

В низком небе чуть дольше ноты длится след ласточкиного полета,
Через вдох он превращается в контур,
Еще через один звонкий миг
Силуэт вздрагивает и ускоряет изгиб — и снова
Птица претворяется в миг.
Что рисует, тем наполняется, чем наполняется, то и звучит.

Птицы рисуют птиц.

Быстрокрылые линии скользят прямыми и спускаются серпантинами
По долинам рек и лугам, по городским скверам,
Где поглощаются склерами.
А после пернатые гости и вовсе скрываются от взора
В сказочном высокогорье.
Только и остается от цифрового полета взлетная полоса горизонта.

Борис БОРУКАЕВ

ОТ И ДО

ЭТЮД В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ

Человек в розовой одежде у розового «Роллс-Ройса»
видит, как розовые птицы на фоне розового заката
кружат над ним и словно кричат все: «Не бойся!».
Но человек боится и смотрит на них виновато.

Человек из розовой сумки достает розовое печенье
и, ломая, бросает в воздух так, чтобы каждая птица
непременно поймать сумела столь редкое угощение,
а возможно, и постигла бы, почему человек боится.

Вокруг человека цветы, встречающие стойко и стоя:
розовые тюльпаны, лилии, пионы и георгины,
от которых исходят запахи нежности и покоя,
будто Делакруа и Брейгель встряхнули свои картины.

Недалеко в розовом море бежит розовая каравелла,
прекрасная как надежда, невесомая как сам ветер,
заполняющий розовые паруса деловито и умело,
приближая к маяку, очертанному в розовом свете.

Человек по-своему счастлив, и мешать ему в том не надо.
Пусть его главная тайна останется между нами.
Он и сам хорошо понимает, где граница рая и ада.
Поэтому боится расстаться с розовыми очками.

Борис Борукаев — поэт. Родился в Одессе. Закончил факультет романо-германской филологии Одесского университета. Филолог, переводчик. С 1994 года живет в Нью-Йорке. Автор двух книг поэзии и одной прозы. Член Союза писателей XXI века (Россия). Член Национального Союза писателей (США). Лауреат Международного конкурса «Золотое перо Руси» 2021 г. Вице-президент Пушкинского общества Америки.

ФИГУРЫ

Земля, казавшаяся безоговорочно плоскою,
раскалывалась с каждой секундой все стремительней.
Когда гибель приближалась горячей полоскою,
не мог ничего поделать даже ангел-хранитель с ней.

Лежали, обнявшись. Да так и застыли вне времени —
свидетельством веским того, как далекими предками
любилось и как управляли своим бытием они,
а эти мгновения вовсе бывали не редкими.

Вот так застывали всегда, проводя наши встречи мы.
Заплачешь ли ты, и смахну — пораженный — слезу ли я
при взгляде на эти фигуры, что увековечены
под серым, когда-то сжигающим пеплом Везувия?

БАНАЛЬНОСТИ

Я, может, банальность скажу в состоянии шоковом.
Не дайте лицу превратиться в пунцовое месиво.
Ну, в смысле, вторую зачем подставлять снова щеку вам?
Тем более что у меня и у вас их по две всего.

Еще я скажу, не валяются вовсе на улице
такие, чья слава воспета онлайнным профилем,
хотя не вручались им вовсе ни Тьюринг, ни Пулитцер,
ни Эмми, ни Грэмми, ни Букер, ни Нобель со Шнобелем.

Я снова банальность скажу, но вы все же запомните.
И давеча бы пригодилось и точно теперича.
Да, черную кошку искать нелегко в темной комнате,
особенно если искать на квадрате Малевича.

Добавлю к тому же, что в мире предельно расколотом
гляжу я вокруг и то охаю тихо, то ахаю.
Одни смело рвякают меж наковальной и молотом,
другие плюют на них меж топорами и плахою.

Мы столь уникальны, умны! Эту чушь неизменную
 несли и несем, и впредь будем в грядущую даль нести,
 своею заносчивостью развлекая Вселенную.
 Простите уж великодушно меня за банальности.

ОТ И ДО

От любви до ненависти один шаг.
 От ненависти до любви — не считали.
 Считать, видимо, было внапряг.
 Шагать пришлось бы в дальние дали.

От нелюбви до любви один взгляд.
 Случается так. Как удар током.
 Десять тысяч вольт, говорят
 те, кого долбануло ненароком.

Твердят: перестаешь быть самим собой.
 Распадаешься весь по частицам.
 И все части тебя в этот миг лихой
 не совпадают, пытаясь сложиться.

Особый статус обретает голова.
 Она вроде бы есть, но толку мало.
 То есть функция мыслить для нее нова,
 как будто никогда ее не обретала.

От любви до нелюбви обратно — миг.
 Но миг между будущим и прошлым.
 Тоже не нужно брести напрямик
 или вокруг, стирая до дыр подошвы.

К чему я? Чтоб не пропасть вгорячах,
 будем бдительны! Ходим не скопом,
 без резких движений, в защитных очках,
 по проверенным исхоженным тропам.

Евгений СТЕПАНОВ

В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОЭТОГРАДА

ДЛИННАЯ-КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ

Спешил. Запыхался. Вспотел.
Упал. Поранился. Болею.
Лечусь. Ро(ю)машка. Чистотел.
Плетусь навстречу юбилею.

Не хнычу. Радуюсь — живой
И не лишен любви и крова.
А млечный путь над головой
Указывает на Быково,

Где дом и отчая земля,
И на участке сыроежки...
И все располагает для
Отказа от постыдной спешки...

2024

В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОЭТОГРАДА

Нарциссы — отпрыски Луны.
А бархатцы — посланцы Солнца.
Сад полон звездной глубины,
Как будетлянское «Мирсконца».

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

Всех камасутр и всех услад
Сладимей стойкая рассада.
Моя душа — нешумный сад
В окрестностях Поэтограда.

Здесь на ветвях сидят Глазков,
Кручёных, Хлебников, Соснора...
А сосны выше облаков.
И выют синицы гнезда споро.

2024

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ

*«ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий»*

Иосиф Бродский

Я просыпаюсь — возраст! — рано.
Проснулся — и в купель — бултых.
Потом на грядках — неустанно,
Где пахнет, как марихуана,
Рассада черри озорных.

Потом — гулять. Мне шепчет: «Здравствуй!»
Лопух, сын солнечных лучей.
А в доме дремлет кот бокастый,
Ползет по книжке жук лобастый,
Известный дачный книгочей.

А за окном гуляет барин —
Прощальный двадцать первый век.
Я буду краток, лапидарен:
Цветет боярышник-Казарин,
Цветет ирга-Татьяна Бек...

А в голове белесой — каша.
Цель жизни вряд ли мне ясна.
Но главное: сосна-Наташа...
Растет до звезд сосна-Наташа,
Моя прекрасная сосна.

2024

60 ЛЕТ

Болезни-фашисты берут меня в окружение.
Но я сражаюсь — работаю.
И не сдаюсь в плен.

2024

ЛАНДЫШИ, БЫКОВО, 6-Й ПРОЕЗД, ДОМ 3

Тюльпанов, роз — наперечет,
Нестойких крокусов — тем паче.
А войско ландышей идет
Победоносно здесь — на даче.

Они красивее, чем сны;
Не вызывают аллергии;
И как-то весело сильны,
Но мне милей цветы другие.

2024

СОВЕРШЕНСТВО

лебединая шея тюльпана

2024

БУДУЩЕЕ

Я наблюдаю за собой —
За собственной больной душой
И за больным, уставшим телом.
И перспективы мне ясны...

Я стану глиной-и-землей,
А после деревом высоким,
Стремящимся ветвями в небо.
Но это *п о с л е*. А сейчас

Я выхожу в поющий сад —
 В сандалиях на босу ногу —
 И чувствую тепло земли.
 И будущее не пугает.

2024

ПОЭТ ПЕРЕСТАЛ ПИСАТЬ СТИХИ

Поэт перестал писать стихи.

— Это прекрасно, —
 возликовали его коллеги-поэты.

— Это замечательно, —
 воскликнули деревья (наверное, всем понятно — почему!).

— Это лучший для меня подарок, —
 сказал редактор одного толстого журнала.

— Наконец-то и на моей улице праздник, —
 прослезилась от счастья жена поэта. —
 Может быть, теперь ты займешься настоящим делом
 и будешь зарабатывать хоть какие-то деньги.

— Надо же, — подумал поэт, —
 я и не знал, что могу делать так много хорошего, не делая ничего...

...Но преступник всегда возвращается на место преступления...
 Через полгода поэт опять начал писать стихи.

2024

Александр ГАБРИЭЛЬ

РАСКРАШЕННЫЙ ТРАМВАЙ

* * *

Доверчивей эльфа, опасней тротила,
под танец цепочки дверной
она приходила, она уходила,
она оставалась со мной,

она оставалась — в надеждах, обидах,
пускавшихся с места в галоп;
была органичней, чем вдох или выдох,
чем пульс, разрывающий лоб.

Она оставалась — среди кривотолков,
на свете огромном — одна.
И жизнь разбивалась на сотни осколков,
слепающих, лишаящих сна:

вот клен на ветру изогнулся в поклоне,
вот гаснет закат, уходя,
вот туча, кормящая землю с ладони
рассыпчатым просом дождя,

упругая мягкость подушки диванной,
неброский балконный выюнок...
Но вот — долгожданной небесною манной —
простой телефонный звонок.

И смысл бытия проступал из тумана,
как иней из мерзлой травы...
Да, «счастье» — словечко из «дамских» романов.
Но лучше не сыщешь, увы.

* * *

На ценные запчасти жизнь дробя
согласно своду прагматичных правил,
он из себя выдавливал — себя,
а вот раба, раба в себе — оставил.

Что толку жить взахлеб и на разрыв,
к лучам свободы простирая длани?
Он шел вперед, глаза свои закрыв —
куда вели. Пусть даже на закланье.

Немногословный мальчик для битья,
он понимал, что каждому — по вере...
Ползла галера к краю бытия;
гремели цепи тех, кто на галере.

Душой не чуя ни добра, ни зла,
был занят он нехитрым рабским делом...
И темень отражали зеркала,
те зеркала, в которые глядел он.

ЛЕКТЕР

Ну здравствуй, Кларисса. Я знаю, ты помнишь. Скучала?
Конечно, шучу. Я всегда был большим шутником.
Зачем позвонил? Вот, симпатией прежней влеком.
Порою приятно — хоть в мыслях! — вернуться к началу.
Простой стариковский удел — почесать языком.

Нет, как ни крути, а былое потрачено с толком.
Сейчас все не так. Нету триллеров как таковых.
Но мы ко всему привыкаем. Я тоже привык,
оставшись все тем же холодным расчетливым волком,
а ты, знаю точно — звездой структур силовых.

Я сам по себе. Ты, конечно же, служишь народу,
и некогда в доме случайный полить анемон...
Мне все-таки проще. Я сам себе царь Соломон.
И знаешь, Кларисса, свою не изменишь природу.
Откуда звоню? Ну, some on, дорогая, some on...

Я создал тебя. Согласись и взгляни непредвзято.
Идет к завершению все то, что смогли мы начать;
и с главных вещей не сорвем мы молчанья печать.
Шум в трубке, который ты слышишь — так это ягнята.
Как все же я рад, что твои — перестали кричать.

Мой психоанализ слегка заржавел и натужен,
но это — на пользу тебе и другим на беду.
Но прошлое — в нас застывает, как муха во льду.
Прощай, дорогая. Тебя пригласить бы на ужин —
но ты ж не придешь.
Да, наверно, и я не приду.

В ОЖИДАНИИ АВТОБУСА

Вот человек стоит на остановке.
Скользит в воздушных струях лист неловкий,
бездумному покою антидот.
Пропитан поздним летом каждый атом.
Вот человек, подсвеченный закатом.
Автобус не идет и не идет.

А вечер чужд и горести, и неги.
Все однородней делается небо,
свет выпивая за один присест.
А человек капризы тьмы и света
видал так часто. Но ему все это
не надоело и не надоест.

Вот человек. Он стар, но ликом светел.
Он видел много смен десятилетий,
включая то, что видеть не хотел.
Былое — серый дождь и колкий иней.
Но человек не знает и поныне,
каков ему отмеренный предел.

Автобуса все нет. Житейских правил —
все меньше. Пролетевший дождь оставил
едва заметных лужиц зеркала...
Вращается планета, словно глобус...
Проходит жизнь, и не идет автобус.
Автобус не идет. А жизнь прошла.

Ш. Х. МИНУТА ОТКРОВЕННОСТИ

Доктор, Вам хорошо. Вы достойно ушли на покой,
заслужив уважение военно-врачебной карьерой.
Ну, а мне-то что делать? Скрипач из меня никакой.
Не служил я британской короне ни правдой, ни верой.

Доктор, Вам хорошо. Вы солидны. Женаты притом.
Вечно слову верны и к высокому склонны поступку.
А по мне тихо плачет дешевый китайский притон,
где нечистую дурь забивают в потертую трубку.

Никогда не дожждаться мне веянья ангельских крыл,
никогда пред высокой идеей не пасть на колени...
Соглашусь: пару-тройку убийств я, пожалуй, раскрыл.
Так ведь это от лени. Единственно только от лени.

Доктор, Вы — гражданин. Молодежи достойный пример.
Вам на завтрак готовит жена аппетитные гренки.
Ну а я — одинок. Завсегдатай грошовых таверн.
Вечерами, напившись, палю по мишеням на стенке.

Побоксируем, доктор? Покурим табак в тишине,
дыма сонными кольцами лондонский вечер тушуя?..
Зря Вы все-таки, Ватсон, решили писать обо мне,
не дождавшись того, что однажды о Вас напишу я.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

И следа не осталось от года, в котором
мы застряли с тобой: ни назад, ни вперед.
Луч рассветный, небрежно скатившись по шторам
полусонную комнату брал в оборот.
Наполнялась значением всякая малость
и в душе выжигалась подобно клейму.
Колесо обозрения наше сломалось
в самой верхней из точек, доступных ему.
В этой точке, подобны наполненным чашам,
мы равнялись себе. Без особых причин
оказался всецело, отчаянно нашим
мир внизу — только нашим, и больше ничьим.

Ни слова ничего не решали, ни числа,
ни изящный изгиб стихотворной строки...
Но казалось: исполнены тайного смысла
и движение ресниц, и касание руки.
Не хватало дыхания. Сердце сжималось,
кроме нас, не впуская в себя никого...
Колесо обозрения наше сломалось,
а потом...
А потом починили его.
Мы спустились — навстречу раздорам и спорам,
к молчаливой стене, где кончалась стезя,
и следа не оставив от года, в котором
кроме нас, ничего и припомнить нельзя.

ПЕРВОМАЙ

По рельсам полз раскрашенный трамвай,
охваченный ветрянкой красных пятен.
Весь город рдел стыдливо, словно мак.
И шел по свету праздник Первомай,
для многих смысл которого невнятен,
но ведь весна. И праздник как-никак.

Не грохотал торжественный салют
в патриотичном пламенном припадке,
но выходной всегда по нраву всем.
И тек по площадям рабочий люд,
доставленный согласно разнарядке
КПСС и ВЛКСМ.

В глазах рябило от духовных скреп.
Мир выглядел привычно и фальшиво
(лет через пять он превратится в пшик).
На каждом был банальный ширпотреб.
На некоторых — с ноткой индпошива,
будя в мозгу чужое слово «шик».

Не уважая дату ни на грош,
послав ее в душе брезгливым матом,
но лезть не собираясь на рожон,

студент Евгений нес плакат: «Даеть!»
и думал в соответствии с плакатом
лишь о соседке выше этажом.

Людской организованный табун,
на солнце шурясь, двигался устало
по тонкой кромке непонятных вех.
Летели к небу здравицы с трибун...
Вздыхал Евгений. Ольга не давала.
По рельсам полз в депо двадцатый век.

ДИАЛОГ С КОШКОЙ

И спросил я у кошки: «Ты хочешь остаться со мной?
Я давно изотоп, нисходящий на полураспад.
Я молчу невпопад и порой говорю невпопад,
и давно охромел от баталий мой конь вороной.

Понимаешь ли, четвероногое, я иногда,
как ручей в Амазонку, впадаю в такую тоску,
что тебе не узнать на своем быстrokрылом веку
ни такой пустоты, ни такого бесшовного льда».

И спросил я у кошки: «Ты хочешь остаться со мной?»
И еще пошутил неуклюже: мол, я или я?
А прохладное солнце сползало за грань бытия,
зримо делая вечер Великой Китайской Стеной.

И бросало по черным стихиям домашний челнок,
на котором забыл прописаться спасительный Ной...
И спросил я у кошки: «Ты хочешь остаться со мной?»
Кошка буркнула: «Ладно...» И сонно свернулась у ног.

* * *

Услышь, как седой непогоды стаккато
в винительный впало падеж.
Истлели на тоненькой кромке заката
бумажные крылья надежд.

Да здравствует племя дошедших до точки
нас всех. И тебя, и меня.
И бьют все сильнее секунд молоточки
по часикам Судного Дня.

Нуждается в новой, чужой переплавке
изъеденный молью до дыр
по калькам фон Триера, Босха и Кафки
однажды придуманный мир.

И, горбясь понуро, застыла минута
в часах Сальвадора Дали,
как будто хирург, говорящий кому-то:
«Мы сделали все, что смогли».

* * *

Ты эти надежды на что возлагал?
Где дали, в которые грех не взглядеться?
И выцвело братство, как старый фингал,
и время ушло, ампутировав детство.

Откуда-то звон. Это чьи кандалы?
Жизнь стала скупей на оттенки и звуки.
Холодные стены. Протерты полы.
Хирург умывает холеные руки.

Повсюду тоска, и она испокон.
Никто и ничто ей не станет преградой...
Нарушь-ка, вода, тяготенья закон —
прильни к решетку и на землю не падай.

Тут слиплись в одно похвала и хула.
Смирись с предстоящим. Зубами не клацай.
В итоге — дрожащая горстка тепла
и восемь оставшихся реинкарнаций.

СЛУЖБА

Служил он беспорочно и неистово,
с тупым усердьем чеховского пристава,
не тратя мозгового вещества.
И не был верен Будде или Одину,
зато любил жену, детей и Родину
(но третий пункт сильнее, чем первых два).

Он опален был, как закатным заревом,
вниманием небрежным государевым,
служа начальству, как цепной барбос.
На ужин — щи да водки две-три стопочки...
Комфорта зона сузилась до тропочки —
той, по которой полз его обоз.

Вот так и жил: ни радости, ни ярости.
Покуда дело шло к спокойной старости,
он стул в конторе тучным задом грел.
Но много ль толку от здоровья бычьего? —
однажды на исходе дня обычного
себя нашел он в списке на расстрел.

Согласно эволюциям и дарвинам
другой сидит на стульчике продавленном,
являя и усердие, и прыть.
А за окном сугроб растаял в кашицу,
и мир все тот же, отчего и кажется,
что жизнь от смерти трудно отличить.

WHAT CAN I DO?

В почти истершемся из памяти году,
когда у юности еще не вышли сроки,
магнитофон едва дышал, но группа «Smokie»
рвала окрестности своим «What can I do?»

И всякий в комнате слегка сходил с ума,
там тьма плыла, едва колеблемая свечкой...
А жизнь казалась непонятною, но вечной.
Была весна. Точнее, все-таки зима.

И два кораблика застряли на мели.
Меж ними были сантиметры, а не мили...
Но все же две непараллельные прямые
в трехмерном мире пересечься не могли.

Что толку прошлое тащить к себе в строку? —
в нем только немощь отсыревшего тротила...
Но ты в себе носила свет. А уходила —
свет выключался моментально, по щелчку.

И в сигаретном неприкаянном чаду
качалась ночь. Котенок воду пил из миски...
И таял в воздухе то русский, то английский...
«What can I do?»

Сергей АЛИХАНОВ

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ

* * *

Покажется — рельеф
Журчаньем изменен —
Строка или припев
Являют суть времен.

И озаренья миг
Лучом сквозь березняк.
Так, породив родник,
Бьет молния в овраг.

* * *

Извините, дальше личное —
Слаб корень, зуб из десны не тянется.
Если убрать все лишнее,
Мало что останется...

ИЗНАНКА

Подхватит камера, догонит —
ты с нею в паре!
Вся жизнь твоя как на ладони,
ты в кадре, парень!

Сергей Алиханов — поэт. Родился в 1947 году в Тбилиси. Окончил Грузинский институт физкультуры. Стихи Сергея Алиханова печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Юность», в альманахах «Поэзия», «День поэзии». Автор поэтических сборников «Голубиный шум», «Долгая осень», «Лен лежит», «Блаженство бега», «Где свет мелькал на сквозняке», «Мимолетный сентябрь». Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Вдоль сцены шевелись, не мешкай,
движухой спрячешь,
что ты звучишь все время с флешки —
никак иначе.

А под слова губами двигай! —
Давай, чего ты?
Майк* не роняй, под липсинг** прыгай! —
Здесь не про ноты.

Пойдут по райдеру гастроли,
Прически, тряпки.
Здесь не про песни, ни про роли —
Здесь все про бабки.

Так подавай себя все круче,
ведь очень скоро
тебе же самому наскучит
повтор повтор!

Всей тусе, всем мешкам*** до рвоты
ты впарь желания!
Эстрада это не про ноты —
про расстоянья...

* * *

От скверика не отвела очей,
И тюлем не завесила окошко.
Звонишь, звонишь — не едет неотложка,
И бомж весь день-деньской лежит ничей...

* Майк — микрофон (*тусовочный сленг*).

** Липсинг — имитация пения, шевеление на сцене губами с разеванием рта под плюсовку — под собственную студийную запись (*тусовочный сленг*).

*** Мешок — зритель (*тусовочный сленг*).

* * *

Вновь марш любимый и бодрящий,
Разгул литавр, колоколов —
Я полон жизнью настоящей,
Бравурных, пламенных годов!

В мой поре восьмидесятой
Пишу для каждой стройки гимн.
Душой ли, за душу ли взятый,
Чтоб не повадно стать другим.

На Енисей в сентябрьской дымке
Гляжу с курейских берегов.
В Дудинке, на поблекшем снимке,
Все громче звук моих шагов!

Виталий ШТЕМПЕЛЬ

В САМОМ ДЕЛЕ

ЛАЗАРЬ

Вот он открыл глаза. Думает: долго спал.
Каждый шорох ли, звук — будто грохот литавр.
Он, как ныне E-Mail — случайный — попал в Spam:
Страшно, что удалят, даже не прочитав.

Сам не уверен в том, вымолвил: «Это я».
Впрочем, жена и та в шоке: «Зачем ты вновь?»
Пошевелил рукой. Видимо, просто для
Того, чтобы осознать — в жилах течет кровь.

Медленно в дом вошел — не человек, не труп.
Долго стоял, застыв, — будто память листал.
— Кажется, ты опять вылить прокисший суп
Времени не нашла. Бог ли тебя создал?

Дети входят. Жена им говорит: «Отец
Хочет вас видеть. Он к нам вернулся опять».
Жизни сценарий прост. Здесь еще не конец.
Как ему дальше жить? Заново ль жизнь начать?

Солнца лиловый свет льется в дверной проем.
Каждый предмет таит жизнь, возвращает явь.
Он подозвал жену: «Нам бы побыть вдвоем.
Да, и кувшин с вином прежде на стол поставь».

2017

* * *

У судьбы достаточно ироний.
 Лучше — если все же не приснится.
 Позади, как в памяти горгоньей,
 Только каменеющие лица.

Из живой планеты в астероид
 Незаметно как-то обратиться.
 ...Ничего уже не беспокоит.
 Отчего же сердце ноет... ноет...

2019

* * *

От тебя ни голоса, ни знака.
 Милая, далекая, ушедшая.
 «Я тебе пишу, как Пастернаку.
 Я тебя люблю, как сумасшедшая».

Верю в счастье, будто бы в удачу,
 В жизни так его и не обретший я.
 Как сквозь сон услышу и заплачу:
 «Я люблю тебя, как сумасшедшая».

Ну за что такое наказание! —
 Ты, меня на небеса уведшая,
 Сердце отдала мне на закланье:
 «Я люблю тебя, как сумасшедшая».

Но уже ни голоса, ни знака —
 Веточка любви моей ответшая.
 «Я тебе пишу, как Пастернаку.
 Я тебя люблю, как сумасшедшая».

2009

* * *

В самом деле — живем как живем.
Все имеем, хоть мало имеем,
Разговоры ведем ни о чем, —
Будто время съедаем живьем.
Жизнь течет, как песок Арамеи.

То роман написать, то стишок
Тянет. Хуже — всосет, как Бермуда.
Страсть к писанию — страшный порок.
Вспомни: жизнь — лишь отпущенный срок,
И в конце не случается чуда.

Потому затерявшийся след
Ищем в памяти, как в междустрочье.
И неясно — кому этот бред.
Раз уж юность прошла, Ганимед,
Не ищи продолжения к ночи.

А не проще ль — поднять жалюзи,
И увидеть что мир неизменен:
Горизонт голубей бирюзы,
Сад застыл в ожиданье грозы,
И ничто не грозит ойкумене.

Возвращается женщина в дом,
И в гнездо свое птица стремится.
Мы по общему кругу идем.
Нет, не хочется думать о том:
Мир раскрыт на последней странице.

2012

ПОБЕДОНОСНЫЙ ГЕНЕРАЛ

(Около 2300 г. до н. э., Египет. Автор неизвестен)

Этот господин вернулся счастливый домой,
после того, как пересек страну наших недругов.
Этот господин вернулся счастливый домой,
после того, как вытоптал земли наших недругов.

Этот господин вернулся счастливый домой
 после того, как разрушил их крепости.
 Этот господин вернулся счастливый домой
 После того, как вырубил их фиговые деревья и виноградники.
 Этот господин вернулся счастливый домой
 после того, как сжег их хижины.
 Этот господин вернулся счастливый домой
 После того, как уничтожил их многочисленные легионы.
 Этот господин вернулся счастливый домой
 После того, как захватил множество пленных.
 Император хвалил за это меня исключительно.
(Перевод выполнен с немецкой версии стихотворения.)

* * *

Я говорил и слов не помнил.
 И отчуждался, и страдал.
 А ты была готова слушать
 Меня и час, и два, и — боле! —
 Когда бы дождь не разразился,
 Когда бы он не грянул с неба, —
 Так, как умеет только он.
 2023

* * *

Г. Т.

Миг, когда кажется: мир — на весу, —
 Ножки босые задрал.
 День прозревал. И по капле росу
 Слизывал с листьев и трав.

Липы тянулись, в суставах хрустя
 И выдыхая озноб.
 Месяц, сомкнув обреченно уста,
 Медленно к берегу греб.

В желтых венцах оживал водоем,
И опускались на дно —
Кто б они ни были — вместе, вдвоем,
Будто решили давно.

2011

* * *

Стареющий поэт с симптомами нарцисса,
Отменно плодовит и мудр, как гюрза.
Он в боги не попал и в мэтры не записан,
Но он умел быть против, когда другие — за.

Кого-то развенчал, кого-то вывел в люди,
Себя не уронил. А ныне — на виду.
И не беда, что мы стихи его забудем —
За этот малый грех нам не гореть в аду.

2006

* * *

Она уродлива. Он — красив.
Он об удаче мечтает с детства.
Она имеет жилой массив.
Он — ладит с нею. Он знает средства.

Он подгоняет ей «мерседес».
Дверь открывает. Целует в щечку.
Она богата. Имеет вес.
Он знает место. Он — оболочка.

Она в заботах — гешефты ждут.
Заглянет в дебет — швырнет платежки.
Она — капризна. Он — тут как тут.
Возьмет за ручку. Падет ей в ножки.

В ней все гротескно. В ней страсть Лилит,
Греховность Евы. Как этим сыт он!
Ей долгий вечер принадлежит.
Ему — лишь память. И та — размыта.

Глубокой ночью, когда она,
Спит — безмятежна и так невинна! —
Он хочет выпить бокал до дна,
А выпивает — до половины.

2010

* * *

Что было б — мне страшно подумать,
Мне страшно подумать — что было б,
Когда бы тебя я не встретил,
Когда б не узнал в этой жизни,
Что все-таки в мире ты есть.

И больно тебе мне признаться, —
Но это лишь плата земная,
Обычная плата земная:
Тобой не хочу восторгаться,
Тебя не умею любить.

О, да — красота изначальна! —
Теперь-то я знаю о том.
Но память о ней преходяща.
И даже она — ни при чем.

2011

Маргарита МАМИЧ

МАЯТНИК СТРЕЛОК СЕКУНДНЫХ

СИНЯЯ ЛАМПА

У стеклянной венки, на обочине
Стрекоза больная бьется крыльями,
Голос свой порезав полумесяцем;

Тщетно взвояет скорая — о помощи,
И мусоровоз ленивый утренний
Соберет бумажные цветы;

Поливальная машина с рыжим кузовом
Пожалеет стрекозу, накроет саваном,
Чтобы в луже зародилась жизнь.

* * *

В тишине делятся на точки крестики мохнатой пыли,
в тишине молчат раненые пятиногие комары,
пробивает скорлупку окна
полумесяца острый клюв,
выпивая по вздоху нектар из ночных цветов.
Трескотня за плинтусом — свет
взаперти в сине-мертвой проводке,
что удушена вспять изоляцией;
И стучит сквозь брезгливость что-то
за обшарпанным холодильником,
от все тех же оконных скорлупок
очищая чужие мысли,
не имевшие силы воли.

Маргарита Мамич — поэт. Родилась в Москве. Получила образование в МК МГИМ им. А. Шнитке и в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, студентка Литературного института им. А. М. Горького. Победитель XVIII Международного конкурса им. Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков (2023, 1 место), победитель I Международной Литературной премии им. А. С. Серафимовича (сезон 2022 года, 1 место), член жюри V Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2023», участница Зимней школы поэтов. Публиковалась в литературных журналах «Звезда», «Дети Ра», «Вторник», «Нуарт» и др., а также в различных литературных альманахах, среди которых — «Тверской бульвар, 25».

* * *

Кто-то разбил море
На стекляшки солнечных зайцев,
Кто-то украл ветер,
Увез, пристегнул к водостоку
Цепью для велосипеда —
И потерял ключи.
Свой раскачать голос
Силится, пробует птица
В сиринксе медной гирькой,
Будто на ходиках ржавых —
Маятник стрелок секундных
Так разрезает жизнь.

* * *

Если начертить цилиндры
Ржавых бочек на крышах домов,
Можно увидеть утопших —
Их посеревшие легкие,
Заполненные затхлой водой
Ненужных, заржавленных слов.

* * *

Проявляются серыми точками белые птицы,
Как грибы, из дождей и из мха облаков,
Вырастая из неба по кругу, из старой грибницы;

Их срезают тупыми ножами лучи у откосов
Серошиферных крыш, и из труб-маяков,
Будто вкрадчивый дым из курительных трубок матросов,

Вырываются споры —
чужие подкрышные ссоры.

* * *

Порезавшись зубчатым краем листа,
истекает туманом беззубый дуб:

каждым вдохом и выдохом, от куста до куста
из крестов оконных собирая сруб.
Уходит к главному дну камень: «Бултых!» —
у истоков колодца вода тепла:
греет камни загрудные, что тела быют под дых,
греет звезды — тоже
(космические) тела.

* * *

Солнечные пятна на бордюре
Станут лунными крюкастыми серпами
В день затмения;

Закрутят банку полдня,
Утопив в горячем уксусе деревья,
Опустив в него лавровые ладони;

Расплетутся рельсы-связки, и трахея
Проводить не сможет сжатый воздух
В тишину разбросанных пылинок:

Асфальтоукладчик припрессует
Отпечатки выжженных чешуек
С крылышек лимонниц-альбиносов.

* * *

Просыпались на обочину звезды —
Приземлились, заземлились,
Заземнились, озимились,
Очерствели клетками тел, очернели косточками глаз.
Смотрят теперь звезды снизу вверх —
Стали камешками гравия в асфальте.

* * *

Честность — большая медведка
Бьется о перегоревшую синюю лампу чужого доверия;
Вроде, летает, но редко —
Нужен для этого теплый воздушный поток, и тогда, как бактерия,
Мшистой, щекотной ворсинкой,
Лапкой с когтями кротовыми ход прорывая в земле —
в черном воздухе ночи —
К свету стремится. Пылинкой
Бьется о темную лампочку — бьется и бьется, как сердце, —
и биться не хочет.

Павел ЩЕРБАКОВ

НА ПРЕДРАССВЕТНОМ ФОНЕ

* * *

Дождь, холодный вечер и вокзал,
Запахи полыни, хризантем.
Многие из слов, что я сказал,
Говорить не стоило совсем.

Музыкант сыграл плохой этюд,
И в груди застряла нота си.
Звуки не слова, они не лгут,
Ты теперь с собою их носи.

Вот кафе: тепло, уютно в нем,
Огоньки горят, как и тогда...
Я вернусь сюда, быть может, днем,
А быть может, вовсе никогда.

* * *

«Если так холодно нам,
Можно пойти домой,
Не заболей, врагам
Не подари покой».

Остров, река, катера,
Друг говорит: «Вот — Кант.
Краткость, брат, не сестра,
Краткость и есть талант».

Павел Щербаков — поэт, литературный критик. Родился в 1999 году в Калининградской области. Окончил факультет управления экономики и права РАНХиГС. Студент Литературного института имени А. М. Горького. Писал статьи для университетского журнала, в настоящее время пишет стихи, произведения для детей, занимается стихотворными переводами. Печатался в сборнике поэзии и прозы литераторов Калининградской области «Голоса города», в альманахе «Литерра Балтика», журналах «Дети Ра», «Зарубежные записки», в газете «Литературные известия». Лауреат международного литературного конкурса «ЛиТерра БалтиКа».

Чайка кричит — и в синь
Неба или воды.
«Шапку на лоб надвинь,
И к соловьям, в сады».

* * *

С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.

Г. Иванов

На предрассветном фоне
Мы оба — сизый дым.
Уселись на балконе,
О разном говорим.

Вдыхая влажный воздух,
В колючий прячась плед...
О том, что меркнут звезды,
О том, что денег нет.

Что кажется нам синим
Пустой осенний сад,
Что мы вдвоем простынем,
И надо бы назад.

Под песенки какие
Беседовать легко,
А больше, дорогие,
Не нужно ничего.

* * *

Я, наверное, очень устал
Разговор продолжать между строк.
На бумаге рисую овал
И смотрю в подвесной потолок.

Посмотри, что я нарисовал,
Вот и звездочка вышла опять,
А вот здесь, рядом с домом, вокзал,
Забирай мой рисунок ругать.

Покажи его умным друзьям,
Пусть оценят и скажут, мол, «да,
Есть талант, но вон тем фонарям
Так мешает большая звезда».

Это ладно, то все ничего,
Эту звездочку можешь стереть,
Все равно не понять, для чего
Ей на лица земные смотреть.

* * *

С карамелью жую шоколад.
Улыбаюсь. Смотрю на закат.
Собираю случайные взгляды.
Рады мне? Ну, конечно же, рады
Только чайки и злые коты.
Жду тебя, мне не встретишься ты.
Так зачем же я жду? Да вот, так...
Обнимаю голодных собак.
Беспокойны соленые воды,
Может, жду не тебя, а погоды.
«Отчего же не ждать?» — сказал Фет.
Жду погоды, закатом согрет.

* * *

С самим собой стихами говорить
О том о сем. Открыть громадный том,
Спустить страницу, что греха таить,
Его легко отбросить на потом.

Пройтись по парку и глаза поднять,
И вдруг увидеть небо над собой.
Увидеть небо и забыть опять,
С тенями раствориться под листвой.

Вернуться ночью, прыгнуть на кровать.
Закутаться. Уснуть. И видеть сны.
Проснуться сразу, снова засыпать
В лучах апрельской ангельской луны.

Встать утром, вечный напевать мотив.
Умыться и пойти на фестиваль,
Враз убедившись, что вполне красив,
В глаза запрятав глупую печаль.

На сцену выйти, встретить пустоту.
И музыку нанизывать на нить,
Звать, вызывать далекую звезду.
С самим собой стихами говорить.

* * *

Как, наверно, страшно быть поэтом,
И не знать о том, что ты поэт.
Я потом подумаю об этом,
А сейчас пишу тебе: «Привет,

В этом доме пусто, одиноко.
Как твои теперь идут дела?
Я читал, дочел до эпилога,
Все-таки та дама умерла.

Что-то здесь я сильно задержался,
Все свои давным-давно ушли,
Все ушли, и дом на мне остался,
А за домом сад и тьма земли».

Не ответила, ответишь позже...
Мне в окошко пялиться опять.
Кажется, откапал теплый дождик,
Что ж, пойду с собаками гулять.

* * *

*Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.*

В. Соколов

Все читаю о странствиях брига,
О герое, живущем в аду.
Скоро кончится милая книга,
И я снова к тебе попаду.

Посмотрю на большие сирени,
Вероятно, до моря пройдуся.
Под теньями прибрежных деревьев
Потеряюсь и снова найдусь.

И не надо, не кончится это,
Повторится и свет, и вода.
Огонек от песчаного следа
Навсегда, навсегда, навсегда.

* * *

Стол, скамейка, облака, тропинка,
Лист опавший, лужа, след ботинка.
Молния, суглинок и травинка.
Молния! Лицо, глаза, дождинка.

Город. Лес, воздушность, воздух, вечер,
Озеро, рука, огонь, палатка.
Сердце, сердце, вдох, огниво, плечи.
Тишина, свобода, куропатка.

Звезды, молоко, прохлада, кроны,
Теплота, вода, покой, улыбка.
Свежесть, взгляд, иголки и клены.
Солнышко! Лучи, зайчонок, рыбка.

Год. Дождинки, лужи, холод, ветер.
Горло, воротник, дрожанье, льдинка.
Остановка, голос, память, вечер,
Стол, скамейка, облака, тропинка.

* * *

Голова заболела с утра,
Может, это погода меняется?
Ничего я не выпил вчера,
И от этого все усложняется.

Так обыденно все и всегда.
Одиночество — время вечернее.
Одинокая светит звезда,
Моей музыки муза дочерняя.

Ведущий — Павел ЩЕРБАКОВ

ОБОЗРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ

В «Новом мире», № 3/2024 вышла подборка стихотворений **Марии Козловой**. Называется подборка «Журавлик».

Подборка музыкальна, с точки зрения звука она абсолютно выверена, стихотворения имеют сложный ритмический рисунок, при этом уже не столь важно какие рифмы использует автор: «кровь — любовь», «мне — огне» и т. д.:

Я все смотрю, мой свет, не ты ли
(а может, это снится мне) —
В толпе, в столпе белесой пыли,
В меланхолическом огне

Стиховая речь естественна, а звуки находятся в гармонии друг с другом. Звуки «М» и «Н» из первых двух строк вышеприведенного катрена перетекают в «Л», затем они все разрешаются в слове *меланхолическом*. Ассонанс «Е» также очевиден.

Рифма в данном случае является лишь очередным созвучием — таково ее место в любых хороших стихах, то есть в тех, в которых основой выступает сложный ритмический рисунок в соединении со смысловой наполненностью и благозвучностью.

Лучшая рифма, оригинальная она или банальная, это та, которую при первом прочтении будто бы и не замечаешь. Стихи, в которых рифма выпячивается, как бы красуясь своей сложностью и необычностью, но ритмический рисунок которых повторяет метрическую сетку стиха — интонационно бедны и практически никогда не обладают необходимой для поэзии выразительностью.

О музыке стиха сейчас говорят мало, говорят об образности, ассоциативных связях, актуальности и о всякой, выражаясь языком Игоря Меламеда, «филологической ереси», которую нетрудно выдумать, сочинить. Но стиховая музыка стоит выше, и выше она уже хотя бы из-за того, что подделать ее не представляется возможным, и именно в ней закодировано единственно поистине оригинальное из того, что мы можем представить как миру, так и самим себе — мы сами, наша неповторимая душа. Все остальное — в лучшем случае хорошая игра воображения, в худшем — холодный расчет, отдающий мертвечиной.

Лучшие строки данной подборки, как правило, являются в разной степени переработанными местами из классики (но и не только из нее). Почти вся подборка представляет из себя калейдоскоп аллюзий и реминисценций на поэзию М. Лермонтова, Г. Иванова, А. Блока, И. Анненского, В. Ходасевича И. Одоевцеву и др.

Из подобной интертекстуальности только одно место видится мне несколько нарочитым:

А он, бумажный, просит мира,
Как будто в мире есть любовь.

Проблемой, на мой взгляд, подобного приема является не только, и не сколько то, что для него нужно обладать сильнейшими голосовыми данными, а то, что он отдает налетом рациональности, но в целом, в случае со стихами Марии Козловой, музыка спасает автора.

В ряде мест частично повторяется только ритмический рисунок, а потому многие «перепевы» распознаются только на уровне ощущений, но некоторые аллюзии и реминисценции более явны:

Самой любви в нестрогой раме
Фотографический портрет
М. Козлова

Как портрет без сходства в пышной раме.
Г. Иванов

* * *

Вот на крючок попалась рыбка,
Вот сорвалась она с крючка.
М. Козлова

Вот и рыбка золотая
На серебряном крючке.
Г. Иванов

* * *

Человек-то живет, а поэту
Как-то тягостно это и гадко.
М. Козлова

И гадко в этом мире гадком
Г. Иванов

* * *

Я все смотрю, мой свет, не ты ли
(а может, это снится мне)
М. Козлова

И каждый вечер, в час
назначенный
(Иль это только снится мне?)
А. Блок

* * *

Все возвращается к основам —
И эпилог, и некролог, —
Поскольку все чревато словом
И это слово снова Бог.
М. Козлова

Не так ли должен я поднять
Весь груз страстей, тревог,
И слез, и счастья — чтоб узнать
Простое слово — Бог?
В. Ходасевич

* * *

Сама-то жизнь у нас большая
М. Козлова

Что — Россия? Мы сами большие.
Д. Новиков

* * *

Живешь один, как некий бог.
М. Козлова

Живу, как Бог, совсем один.
Б. Рыжий

и т. д.

Подборка Марии Козловой мне понравилась, на мой взгляд, это одна из лучших журнальных публикаций за последние месяцы. Если открыть сборник стихотворений, к примеру, Анатолия Штейгера или Игоря Чиннова, а затем прочесть стихи Марии Козловой, то чувствуется, что последние ничем не уступают известным классикам-эмигрантам.

Особенно замечательными по своему интонационному возрастанию и разрешению показались финальные строки последнего стихотворения в подборке. Речь идет о Георгии Иванове:

Потому что, чем дальше, тем ближе
Исцеление от дислексии —
Это он говорит из Парижа,
Возвращаясь стихами в Россию.

Да, без савана для антуража,
Да и розы как будто не свежи.
Но прислушайся — музыка та же,
Даже, Боже мой, паузы те же.

Стихи Марии Козловой — это стройные и при этом сложные мелодии, высокий смысл, отточенность фраз и подлинность поэтического проживания.

Некоторые полагают, что искренность обязательно должна являть себя в неказистой форме. Это не так. Стихи должны быть изящными. Поэзия — это красота.

В журнале «Знамя», № 4/2024 опубликована небольшая подборка **Сергея Гандлевского**, всего четыре стихотворения, собственно, подборка так и называется.

Понравились строки из третьего стихотворения:

Каких-нибудь несчастных 7 минут
Размером в пять десятилетий

* * *

когда-нибудь мы все, все, все умрем

Самыми сильными показались следующие:

мелькнуло что-то в пламенном окне,
не помню, что напоминая.

В этих двух строчках будто бы и выражено все, что хотел сообщить автор в целом стихотворении. Самое главное схвачено на иррациональном уровне, ощущается живой импульс. Пусть здесь нет конкретики, но это место рождено, а не придумано, за ним стоит подлинная реальность, та, которую мы и ищем в поэзии.

Последующие строки видятся мне в той или иной степени инерционными:

Ужасно, что нельзя переиграть!
Хоть раз один переиграть бы,
и можно было бы не обмирать,
а там, глядишь, и зажило б до свадьбы.

Ресницы черные и серые глаза
и приступы безудержного плача.
Ужасно, что переиграть нельзя —
никак нельзя, вот незадача!

В журнале «Зинзивер», № 2/2024 напечатана подборка **Андрея Ивонина**.

Несмотря на то, что в стихах Андрея Ивонина порой присутствуют риторические моменты, и те, в которых он не являет свои состояния, а только их пересказывает, в подборке много живых строк. Например, полностью из таких строк состоит первое стихотворение в подборке:

ЕЩЕ НЕ СНЕГ

Еще не снег, но копится беда
по перелескам и полям окрестным,
где с неба неизбывная вода
стекает вниз по желобам отвесным.
Где все готово для привычных нег
грядущих зим, и свадебное ложе
из стелых трав, гнилой листвы, но все же
еще не снег.

Стихотворения мелодичные и цельные, когда их читаешь, как бы представляешь единую картинку.

Взгляд настоящего поэта всегда статичен, а потому целен. Поэт только выходит на дорогу, над которой звезда говорит со звездою, а не идет по этой дороге, озираясь на все, что попадает под руку.

Для классической поэзии эта вещь абсолютно естественна, но у современников способность создавать нечто цельное — дар относительно редкий, авторы редко задумываются о композиции. Возможно, это следствие фрагментарности мышления. Порой начнешь читать стихотворение современного стихотворца, а через пять строчек уже и не помнишь, что там, собственно, было в начале, да и нужно ли вообще было это начало? К стихам Андрея Ивонина такого вопроса не возникает.

Чуткость к стиховой музыке и способность создавать цельные произведения всегда свидетельствуют о подлинном поэтическом таланте. Именно таким талантом, на мой взгляд, и обладает Андрей Ивонин.

Аттила БАЛАЖ
(Balázs F. Attila)

MEMENTO

глина избитая
истрескавшаяся
иссушенная
криминальной лаской солнца

над окаменевшими знаками
прикосновения
моделирования
и ухода
видны отпечатки пальцев

Охота за красотой

Время подвешено
на согнутых стрелках часов

человек ключом зарешечивает дверь
рассекая свет на полосы
красота проскальзывает между прутьями
и изображение сворачивается на сетчатке

ВЫСОКИЙ ЗВУК

ни на каком инструменте
ты не смог бы извлечь
тот высокий звук услышанный мерзавцем
сосущим кровь
сердцебиения
звнящего в твоих ушах

Аттила Ф. Балаж — венгерский поэт, прозаик, переводчик, редактор и издатель. Родился в 1954 году. Получил образование в Институте католического богословия в Альба-Юлия. В Бухаресте учился по специальностям «библиотекосведение» и «литературный перевод». Живет и работает в Венгрии. Пишет на венгерском языке. Автор многочисленных публикаций и книг, вышедших в разных странах мира. В 2024 году в Издательстве Евгения Степанова в переводах Мирославы Метляевой вышла первая книга поэта на русском языке — «Избранное».

включаешь свет
но не определить
места откуда идет
шум
пусто

забираешься под одеяло
и не знаешь в какой момент
сон похитит тебя
утром, когда лицезришь себя в зеркале
его визитная карточка светится
на твоём лбу

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК

осенний пейзаж в пастельных тонах
словно картина
на которой еще не высохла
краска

я думаю о руке
державшей кисть
и выражающей
любовь цветом

слова несовершенны
и мало тех кому они адресованы

Просеиваю песок сквозь пальцы

разрозненные клочки памяти
запускают мои движения
просыпаюсь
пытаясь собрать воедино
что-то совсем
обыденное
все-таки сходное
с чем-то

вижу
как мои пальцы
начинают дрожать
останавливаюсь
чтобы расслабить мышцы
просеиваю песок сквозь пальцы
оставаясь с собачьим дерьмом на ладонях
рисую некие формы
на песке
и стираю их и продолжаю
знаки круги линии

как можно навести порядок
в беспорядке
нутра?

Порядок — это не приказ
вещи разбрасываются
вещи эмансипируются
вещи сворачиваются
порядок — это невидимый холст
и он уязвим
уничтожаем
случаен
воссоздаваем
вспоминаю
внезапно:
мое имя ограничивает меня?
мое имя это я
или просто решето
которое я не могу с себя сбросить?

слова словно черепахи вылупленные из яйца
погружаются в воду
в колыбель волн
в безопасность водной бездны
огромный рот жадно их поглощает
и лишь немногие
из этих капризных красавиц
выживают
в этом сиянии жизни и смерти

МЯТЕЖ

Стираются буквы с клавиш
и отпечатываются
на кончиках моих пальцев

остатки кожи
обувают клавиши коньками
слова готовятся
к мятежу моего клонирования
только чтобы избавиться от меня

РЕШЕНИЕ

избегнув тени от света
он искал убежища у меня
не в состоянии принять решение
я сказал ему:
днем
я тоскую по ласкам света
а душная ночь
пусть будет твоей

Перевела с венгерского Мирослава МЕТЛЯЕВА

Евгений Степанов, которому 5 июня 2024 года исполнилось 60 лет, рассказывает о своей литературной работе, Союзе писателей XXI века, издательской деятельности, снятых им фильмах, о друзьях молодости — Артёме Боровике, Михаиле Поздныеве и других поэтах и писателях.

С ним побеседовал Николай ФОНАРЁВ.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, телеведущий, кинорежиссер. Автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг», президент Союза писателей XXI века. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института по специальности «французский и немецкий языки» и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в периодике в разных странах мира. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и многих других литературных СМИ, координатор портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ: «Я ЗАПЕЧНЫЙ СВЕРЧОК...»

— Евгений Викторович, поздравляю Вас юбилеем. Как будете отмечать?

— Спасибо, Николай Петрович. Отмечать буду, как всегда — за письменным столом. Работы очень много. И литературной, и административной.

— Что для Вас главное в жизни?

— Любовь. Родная земля. Семья. Поэзия. Работа.

— А что такое любовь?

— Любовь — это когда альтернатива невозможна.

— А что такое поэзия?

— Поэзия — это несовершенная душа человека, запечатленная в совершенной стихотворной форме.

— **Что такое литература в целом?**

— Это комментарии к Библии, к десяти заповедям.

А бывает и по-другому. Иногда литература — это опровержение заповедей; и такое встречается, даже у великих писателей. Тогда возникает вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею». И начинается неприемлемое для меня размышление о том, имеет ли право один человек на убийство другого или нет. Это очень опасная и страшная литература...

— **В чем смысл жизни?**

— Не совершить больших грехов, как говорит герой фильма «Остров» режиссера Павла Лунгина. Я об этом (о смысле жизни) двухсерийную картину снял — называется «Основной вопрос». Там много толковых ответов разных умных людей на этот вопрос.

— **Вы считаете себя профессиональным литератором?**

— Профессионал — это тот, кто получает за свою работу деньги. А я денег за свои публикации не получаю. Раньше, уже в девятнадцать лет, я получал гонорары. И тогда, в Советском Союзе, был профессионалом, литератором. А сейчас я не буду говорить — кто я. Об этом хорошо по аналогичному поводу пошутил Хармс. Но мне обидно его сейчас цитировать.

— **Вы двадцать один год возглавляете солидное издательство «Вест-Консалтинг», делаете сайты, издаете книги, журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки», «Персона PLUS», газеты «Литературные известия», «Поэтоград» и другие СМИ... Вы также издаете — по заказу МИД РФ — газету общественных организаций МИДа «Наша Смоленка: Люди и дела». А сколько книг Вы всего издали?**

— Раньше считал. Сейчас уже сбился со счета. Примерно две тысячи наименований книг.

Это книги Геннадия Айги, Владимира Алейникова, Анны Альчук, Сергея Арутюнова, Сергея Бирюкова, Михаила Бойко, Владимира Бояринова, Лео Бутнару, Яна Бруштейна, Юрия Влодова, Татьяны Грауз, Анастасии Ермаковой, Ольги Ефимовой, Тамары Жирмунской, Максима Замшева, Юрия Казарина, Владимира Казиминова, Елены Кацюбы, Константина Кедрова, Кирилла Ковальджи, Надежды Кондаковой, Любви Красиной, Нины Красновой, Анатолия Кудрявицкого, Бориса Кутенкова, Максима Лаврентьева, Славы Лёна, Светы Литвак, Наталии Лихтенфельд, Анатолия Малкина, Вилли Мельникова, Сергея Мнацаканяна, Людмилы Осокиной, Игоря Панина, Егора Радова, Семёна Резника, Веры Сажиной, Виктора Сосноры, Александра Тимофеевского, Александра Ткаченко, Александра Файна, Евгения Харитонов, Вячеслава Харченко, Андрея Шацкого и многих-многих других. Ну, а в периодике это сотни имен из разных городов и стран.

У нас также выходят известные книжные серии — «Они ушли. Они остались», «Авангранды», СВЛ (Судьбы выдающихся людей), Библиотека журнала «Футурум АРТ», Библиотека журнала «Дети Ра», Библиотека «Поэтограда» и т. д.

Не все, конечно, книги получаются на высоком художественном уровне, но кое-что хорошее нам сделать удалось.

— Из перечисленных авторов — большинство поэты и прозаики. Это ваш основной профиль?

— Наверное, да. Но мы издаем и словари, и учебные пособия, и мемуары... Я рад, что мы издали воспоминания Вячеслава Воронкова, бывшего руководителя Сочи, воспоминания Владимира Гринина, бывшего посла России в ФРГ, и много других интереснейших книг.

— Издательство — это прибыльный бизнес?

— Это вообще не бизнес. Это судьба. Просто я делаю то, что должен делать. Издаю то, что считаю нужным издавать. А деньги... Деньги, конечно, не главное. Заплатил налоги, оплатил аренду офиса, погасил типографские и накладные расходы, перечислил сотрудникам зарплату, купил себе и кошкам-собакам еды — и будь доволен.

— Зато занимаетесь любимым делом...

— Это правда.

— Есть ли поэты, которые Вас восхищают?

— Есть стихи разных поэтов, которые меня восхищают. У меня есть одна книга (точнее, второй том антологии «Они ушли. Они остались»), где я пишу об одном гениальном, на мой взгляд, стихотворении у разных поэтов...

— В литературе много преувеличенных имен?

— Много. Это нормальный процесс. Чтобы понять хорошую литературу, нужно быть равновеликим писателю. У слабого автора гораздо больше шансов войти в историю, чем у сильного. У слабого автора априори больше читателей.

— Вы возглавляете Союз писателей XXI века. Сколько сейчас авторов в ваших рядах?

— Более пятисот. Большая организация. И всем мы даем возможность печататься в наших изданиях, регулярно проводим Гостиные СП XXI века в ЦДЛ, делаем передачи о литературе на телеканале «Диалог»...

— Легко к вам вступить?

— Сейчас стало намного труднее. Когда принимаешь человека в СП, принимаешь за него ответственность. Нет особенно большого желания поддерживать графоманов. Хотя и они нужны. Все имеют право на существование. Если бы я сейчас принимал всех желающих, у меня была бы целая армия литераторов. Но такой задачи я перед собой не ставлю.

— Зачем Вы — при такой-то нагрузке — стали еще и кино снимать?

— Я старею. У меня в слове стало меньше экспрессии. Мне нужны дополнительные средства выразительности. Ларчик, как всегда, открывается просто.

— Вы печтаетесь как поэт, прозаик, драматург, литературовед, литературный критик, переводчик зарубежной поэзии, интервьюер, журналист, публицист. Вы снимаете игровые и документальные фильмы. Как Вы сами считаете, в какой из перечисленных ипостасей Вы наиболее полно реализовались? Наверное, это сложный для Вас вопрос?

— Это для меня очень простой вопрос. Лучше всего я... выращиваю огурцы. У меня на даче пять теплиц. Я выращиваю очень много огурцов, и сам ем, и другим раздаю. Не продал за всю жизнь ни одного овоща. В теплице чувствую себя комфортно. А что касается моего сочинительства и кинематографической работы, то здесь я себя оценивать не могу. Пусть это делают другие.

— Какой фильм Вы бы хотели еще снять?

— Комедию. Хочу так насмешить людей, чтобы они задумались, может быть, чуть взгрустнули. Смех часто бывает трагическим.

— Есть ли популярные актеры, с которыми Вы хотели бы поработать? Машков, Безруков, Миронов?..

— Это выдающиеся артисты. И, конечно, любой режиссер хотел бы поработать с такими звездами. Но мне интересны и другие актеры. Например, Кирилл Пирогов, Полина Кутепова, Игорь Верник... Они мне ближе по внутренней сути. Но это тоже звезды первой величины. Если будут деньги, я, конечно, предложу им свои сценарии.

— Вы часто снимаете непрофессиональных актеров. Почему?

— По ряду причин. Основная причина заключается в том, что у меня люди играют, как правило, самих себя. И поэтому в актерской работе меньше фальши. Понимаете, я знал одного хорошего актера, добрейшего человека, но он играл убийц. И я ему, как говорил Станиславский, не верил... Я знал, что он не убийца. Я снимаю кино, где все по-настоящему.

У моих актеров практически нет игры. Они такие, какие они есть. Более того, я не даю своим артистам сценария. Только говорю, что им нужно сыграть и о чем говорить. Они всегда говорят своими словами; да, запинаятся, да, иногда это звучит косноязычно. Но и в жизни не все златоусты. В общем, я стараюсь, чтобы кино было максимально приближено к жизни. Учусь у неореалистов.

— А с кем-нибудь из иностранных актеров Вы хотели бы поработать?

— Конечно, с Пьером Ришаром, Дени де Вито... Вот мои герои, мои родные типажи. Это, конечно, недотепы, лузеры, как сейчас говорят. Супермены мне практически не интересны.

— Вы печтаетесь в самых разных журналах — «Неве» и «Звезде», «Нашем современнике» и «Москве», «Знамени» и «Дружбе народов», «Подъеме» и «Доне», «Интерпоэзии» и «Суре», «Урале» и «Литкультпривете!» А где состоялся Ваш дебют в толстом журнале?

— В «Дружбе народов», в 1989 году. То есть я в этом замечательном журнале печатаюсь 35 лет. И очень рад, что наше сотрудничество продолжается.

— Как Вы реагируете, когда Ваши стихи критикуют или редактируют?

— Очень положительно. Если редактор подскажет что-то, я буду очень благодарен. Со стороны виднее. Я рад любой критике. Но у меня есть правило: если редактор мне указывает на слабую строчку, я ее заменяю только на свой вариант. Мне так легче выразить то, что я хочу сказать.

— Кто был самый лучший редактор в Вашей жизни?

— Главный редактор всей моей жизни — это Наталия Лихтенфельд, с которой я прожил сорок лет, вплоть до ее трагического ухода в 2021 году. Она (поэт и филолог, и переводчица, и великой души человек!) меня учила всему. В том числе — литературному творчеству. Еще меня в детстве хорошо учила мама, Степанова Аза Георгиевна, она была выдающимся переводчиком с немецкого языка. И учила меня с детских лет и русскому, и немецкому языкам. Огромное влияние на меня оказали Сергей Бирюков, Татьяна Бек, Михаил Поздняев, с которым мы вместе — в газете «Семья» и журнале «Столица» — работали пять лет, Артём Боровик — с ним мы трудились в ежемесячнике «Совершенно секретно» три года. В молодости всегда прислушивался к советам замечательного поэта и переводчика Семёна Израилевича Липкина, с которым мы долгое время общались.

Сейчас я с большим вниманием и уважением выслушиваю редакторские рекомендации Галины Климовой, она — поэт и редактор отдела поэзии журнала «Дружба народов».

— Вам нужна известность?

— Я запечный сверчок. Пою свою негромкую песню. У меня есть несколько читателей-слушателей, мне хватает.

— Вы много лет ведете ПЛК (Профессиональные Литературные Курсы). Есть талантливые ученики?

— Конечно, есть. Курсам уже более сорока лет. Я их открыл, когда мне исполнилось девятнадцать лет и я был студентом Тамбовского педагогического института. Это была Поэтическая студия при ДК имени Кирова в городе Рассказово Тамбовской области, где я тогда жил.

Потом Курсы работали при МГО СП России, при Школе искусств имени Ю. С. Саульского. Сейчас мы функционируем при Союзе писателей XXI века. Занимаются у нас преимущественно члены нашей писательской организации. Занятия проходят бесплатно. По сути, это та же Студия, которая и была у меня сорок лет назад. Занятия я веду лично. Других педагогов у нас сейчас нет. Я рад, что некоторые мои воспитанники поступили в Литературный институт, кто-то (из взрослых студийцев) стал лучше писать и печататься в наших изданиях — «Дети Ра», «Зинзивер», «Поэтоград», «Литературные известия» и в других.

— Какие планы?

— Я хочу снять кинокомедию из жизни литературной среды, выпустить большую книгу стихов, над которой сейчас работаю. Мечтаю передать свои земные дела (журналы, газеты и т. д.) в надежные руки. Для меня большое счастье, что моя сестра приняла в дар от меня дачу на станции Партизанская, где я проводил время на протяжении тридцати лет. Мне уже полегче. Потому что сил становится меньше, а дел еще надо сделать много. И я никогда не забываю мудрые слова классика: что отдал, то твое.

Беседу вел Николай ФОНАРЁВ

Юрий КАЗАРИН

НЕМТЫРЬ. ДУМАЮЩИЙ СТИХИ

(Роман)

Продолжение. Начало в №№ 5, 6, 2023, №№ 1, 2, 2024

* * *

Это была крохотная комнатка на втором этаже ДК Эльмаша. Расположились. Майя здесь впервые. К ней на «занятие» пришло человек десять-двенадцать: все филфаковцы — и Витя Смирнов, и Андрей Сафонцев (потом он поменяет фамилию и станет Танцовым — Андрей очень обижался на подвижку ударения: Танцов, а не Танцовой); Аркадий Застырец, философ из УрГУ, Женя Озимов, сокурсник Юли и Вани, и кое-кто другой, не вполне знакомый, на лицо понятный народ... Говорила сначала Майя о поэзии современной: о Тарковском, о деминутивах Кушнера, о Самойлове и вообще о поэтах-фронтовиках. Беседа длилась часа полтора-два, но времени никто не замечал. Ваня неожиданно для себя прочитал стихотворение Кушнера без уменьшительно-ласкательный суффиксов.

*Пошли на убыль эти ночи
Еще похожие на дни
Еще кромешний полог скорчась
Приподнимают нам они
Чтоб различали мы в испуге
Клонясь к подушке меловой
Лицо любви как в смертной муке
Лицо с закушенной губой...*

И все по очереди и в разброс начали читать стихи Самойлова, Левитанского, Кушнера, Тарковского, Владимира Соколова — всех еще молодых и крепких поэтов, переживших войну и Ленина-Сталина... И время соединилось здесь, на Эльмаше, в первых снегах и в первой зимней светлой темноте, — с пространством, как в открытом космосе, — и образовался не проход в иные миры, а выход из этого мира в прекрасную пустоту музыки, мысли и образов. Такое высвобождение ты переживаешь ежедневно, когда читаешь Мандельштама (разрозненные, переписанные тобой под копирку стихи, которым цены

Юрий Казарин — поэт, прозаик, исследователь поэзии, языковед. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публиковались в периодике в России и за рубежом. Профессор, доктор филологических наук. Живет и работает в Екатеринбурге.

и времени, и пространства нет). Озимов толкает тебя локтем в бок — твоя очередь, и ты читаешь Тарковского, его стихи — это призрачное продолжение Мандельштамовой мощи.

*Хорош ли праздник мой малиновый иль серый
Но мне все кажется что розы на окне
И не признательность а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне
А если я не прав тогда скажи на что же
Мне тишина травы и дружба роц моих
И стрелы мощных крыл и плеск ручьев похожий
Но объяснение в любви глухонемых...*

Все молча выходят вон из этого казенного здания и пешком идут в Центр. Танцовой уболтал Юлю. А Майя, шедшая рядом с Иваном, вдруг тихо, почти шепотом произнесла — вниз, в первый снег:

— Приходите, Ваня, один. Ко мне домой. Мы собираемся почти каждый день. Декабристов 12–12, четвертый этаж. Посидим в кухне. Покажу прижизненного Мандельштама... Знаете, сразу скажу, что такого человека, как вы, встречаю впервые: в вас столько жизни! Разной. Огромной. И — живой. Живой жизни...

Ваня ответил:

— Да. — И сразу прочитал, почему-то глухо, почти громко, но не заикаясь.

*На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи
Так вот что мне с детства так горько знакомо
Видение цезарианского Рима
Горбатый орел и ни дома ни дыма
А ты мое сердце и это терпи...*

Свет неведения чередуется с темными потеками познанного — не успеваешь зажмуриться, моргнуть, прикрыть глаза рукой, опустить веки, — будто едешь куда на поезде, сидя у окна, и лицо твое чересполосно, полосато и переослепленно, как душа, увидевшая себя в зеркале книг. Ты знаешь больше, чем узнаешь? Нет: ты любишь мир — весь. Любишь его квантами света и музыки Тютчева, Бородинского и всех с ними рядом живущих и дышащих в тебе... Советская поэзия дарит тебя строчками, строфами, редкими стихотворениями. Заболоцкий, Хлебников и Тарковский — белый, синий и красный, как лист кленовый, — не обновляют тебя, но укрепляют тебя в тебе и на свете этом, не имеющем конца. Слово бесконечно...

На втором курсе появились два новых, свежих парня: один — брюнет с Кавказа (Абхазия), в целом русский человек, хотя отец его — эстонец, а мать — украинка; он был всегда прям, молчалив и оченосен: его глаза, глаза раненого оленя (как говорили девочки),

оглядывали мир равнодушно, печально, чуть-чуть весело, но жертвенно — выбирая очередную жертву короткой, но *гарачей любви*. Первого звали Петя Шульженко (не путать с «синим платочком»), и он писал не стихи, а рассказы, и это было убийственно странно для остальных, сочинявших вирши под кого-то, чаще под Евтушенко, Маяковского, Есенина, Вознесенского или Самойлова — этаким герметический поэтизм, вырастающий не словесно, но в большей степени интонационно (из интонации фронтовика и поэта, весьма зависимого от советского мира). Второй перевелся из Оренбургского педа. Игорь Ахновский — тонкий, нежный и невыносимо говорливый и писучий стихотворец, прочитавший все на свете, знавший (лично!) всех (жаль, что Мандельштама убили до рождения Игоря — он и с ними бы покуривал, поговаривал и попивал сухое вино. Первый, Петя, через год переспит с Юлей, прельстившейся кавказско-эстонской экзотикой в общем-то неотесанного парня. Со вторым Ваня просидит три оставшихся до университетского дембеля года за одной партой — в разговорах, в стихоплетных дуэлях и в Игоревых полусплетнях о мире советской литературы. Первый через много лет станет другом Ивана, второй станет известным, но чуточку глянцеваым прозаиком (по его книжкам будут снимать фильмы, а один аж с Егором Бероевым!).

В филфаковской общаге на ул. Большакова, большого большевика, в холле, на зеркале, ростом с Петра Первого, среди десятков записочек, свернутых и прикрепленных к раме зеркального сооружения, всегда можно было найти открытое настежь объявление «Петя! Твои трусы в 509 комнате!» На пятом этаже часто орал свои бессмертные песни прокламативного типа Саша Башлачёв, с которым Иван пил водку, и Саша, чувствуя в Ване нечто, что недоступно ему (война? тюрьма? Мандельштам?), утихал и даже улыбался, глядя на небо пятого этажа...

Ваня не любил общаги-казармы-кубрики-камеры-шконки-койки и тумбочки. Он в виду этих пятиэтажек начинал тосковать по Шатрам, по деду с бабушкой, по коню Ёжику (уже поседевшему), по корове Ночке Второй, по овцам и курам... Хотелось все бросить и спрятать свое тельце в непроходимых уральских лесах... Когда он думал стихи, себя и мир, — время кончалось, обрывалось, и пространство, прохрустывая, расползалось, как марля, намокшая кровью (осколок мины, ништяк, вынем, обезбол — спиртышка, стерпишь?). Но когда ты думал стихи, то бишь проникал туда, где никто и ничто не ходит, не летает и не плывет, — происходил пространственно-временной синтез. Он свершился усилием разума, сердца и души — вот те и гравитация иная. Истинная гравитация. Антропологическая. Нет — человеко-поэтическая. Этот странный, видимо, индивидуальный и объединительный хронотоп всей своей метафизикой каким-то загадочным образом воздействия на физический «пространственно-временной континуум». Дурацкие слова. Пустые. Время — в тебе, а не в ваших теориях... Термоядерная бомба испарила ваш долбанный континуум. Ты думаешь себя. А это больно... Гуманитарные науки закрывают себя от мира, как горшок с пустотой, запеченной в трансцендентальной печке... Все — шульберт, харем. Инаф базара, так сказать...

Поженились Юля с Иваном еще на первом курсе, первого апреля. Для смеху, что ли?.. Филфак был сильно удивлен. Но, ничего, проглотил, привык. Через кучу лет многие признавались Ивану, что ребята и девчонки с других факультетов (и даже из УПИ) приходили

на филфак УрГУ посмотреть на эту пару: она красавица, он тоже не от мира сего. Любовались... Дочь родилась в начале декабря. Юля была занята собой и зарубежной литературой, хотя занималась исторической лингвистикой (и сравнительной тож). Иван работал где только можно: и грузчиком, и ночным развозчиком газет, и плотником, и на заводе, где начальствовал тесть: дежурил по ночам в деревообрабатывающем цехе, предварительно загрузив в сушилку вагон досок и прибрал в цехе стружку; он писал роман, потом повесть, потом рассказ. Читал свои опусы друзьям. Кому-то нравилось. Кому-то не очень. Кто-то просто молчал. Ваня сочинял (в прямом смысле и деле) то, что уже было написано кем угодно, кого он любил: от Гоголя до Юрия Казакова. В эти годы появился в Майиной «академии» Кельт, уроженец северного уральского городка Серов, студент иняза пединститута, писавший редкие рассказы, которые были необычно хороши: язык — интонация — безумие нормальной жизни и все такое. Когда Куле (так звали Юлю-младшую: ее первый коммуникативно осознанный звук был таков: «клюкля»); сначала ее звали Клюква, но потом переехали на «Кулю» — от «Кулёма» — от закутанной в платочки и шалечки девочки с татарскими, дедовыми, Череповскими глазами — от Василия Никанорыча, с которым Ваня не виделся и не слышался десять книг. Когда Куле исполнилось полгода, Юля отняла ее от груди и уехала на месяц в топонимическую экспедицию. Начался отит, то-се — Ваня месяц не спал, — каждый день «скорая», врачи, уколы. Теща помогала. Тесть матерился. Ваня молчал. Девочка выздоровела, и Ваня понял, что он теперь один на один со всеми семейными проблемами...

Начал слабеть — до полного исчезновения — запах моря: запах любви, влюбленности, желания обнять, жажды смотреть в любимые глаза. Запах моря какого? Чёрного, Баренцева, Жёлтого? Аравийского? Индийского океана? Атлантики? Бенгальского залива?.. Просто запах моря — моря небывалого, повсеместного. Запах моря на Урале. Запах моря начал истончаться: ничтожное — ничтожным, но великое — всем. Нужно думать стихи. Это единственное, что ты можешь, умеешь и без чего ты не выживешь в этой тихой обывательской среде, когда твой тесть, увидев книги, сложенные в стопки в углу комнаты, заметил:

— Кубометр книг... Нет, полтора... Нет, почти два... Лучше бы колбасы купили.

На третьем году семейной — с Юлей — жизни они вырвались к друзьям в Новогодние праздники. Город литературный, молодой — жил на кухнях. Круглосуточно. Было несколько компаний полубогемного типа, в которые Ваня (и Юля) был вхож: это Майина кухня, своя кухня, кухня Озимова, кухня Эльвиры, журналистки, женщины лет пятидесяти, но удивительно молодой, задорной и влюбленной в Ваню, в его роман (кажется, «Учитель»). У Юли были свои кухни и дома — дамские, куда Ваню было не затащить.

Поехали — все: и Юля, и Ваня, и Саша Субботин, и Витя Смирнов, и Женя Озимов, и некто Соколовский, и другие тож к Шуре Субботину на съемную квартиру. Погуляли. Крепко выпили. Ты, намявшись по работам, свалил с кухни, бросил на пол свой полушубок, лег — и вырубился, как в Египте после боевого денька. Комнатка была малюсенькая, но с кроватью полутораспальной и даже диванчиком... Ты очнулся под утро. Сел на полу, на шубе своей, огляделся. На кровати кто-то или что-то возилось, барахталось, возякалось и перешептывалось. Ты протрезвел, закурил и закашлялся: в полумраке ты разглядел на полутораспальке сидящих с вытаращенными глазами (на тебя, естественно) голых Юлю

и Петю... Ты встал. Оделся. Обулся. Накинул полушубок на плечи. Вышел вон. Купил бутылку водки. Выпил ее из горлышка в один прием. Купил еще одну. Выпил ее в два приема. Купил еще две и поехал к матери...

Запах моря исчез совершенно. Пахло почему-то нашатырем и кошкой. Запах беды... Все несчастливые семьи похожи: в таких домах или слишком светло, или темно, словно накурено и курица подгорела на сковороде. Светлая серость, светлая тьма несчастья...

В 32 военном городке, располагавшемся в Свердловске, абсолютно недистанционно, произошла утечка боевого ОВ — сибирской язвы. Светло-печальная ночь произошла как раз в трех верстах от этого, с позволения сказать, городка (забор, проходная). Иван заразился. Через три дня слег — в маминой однушке хрущёвской...

Информация о заражениях людей сибирской язвой распространилась быстро, но втихую: все помалкивали, на юго-восток, на юг и на запад города ездить прекратили — сидели по своим уралмашам, эльмашам и визам (Верх-Исетский завод — с него начинали Екатеринбург в начале 18 века), втузгородкам, березовским, пышмам, шувакишам, кушали картофан с соленой капустой, запивали водочкой и нарыпались. Катя пичкала Ваню антибиотиком (пенициллин) и приговаривала: «Дубинарум по спинарум кватум сатис». Однако не помогало: температура выскакивала за 40, легкие умирали — не воздымались, но, напротив, ужимались и болезненно принимали в себя холодок воздуха — ледяной, губительный, смертельный...

Начался бред. Ваню ловили соседи на тротуарчике вокруг пятиэтажки. Он бродил босиком по снегу, в трусах и уговаривал каждого встречного-поперечного беречь боеприпасы, не палить в молоко, в молоко небесное, не то потечет оно, все потечет — сюда, и зальет землю нашу к такой-то ротной матери. Просил соседей, уводивших его домой, доставить на позиции побольше воды, а еще оборонительных гранат — «лимонок», то бишь «Ф-1»...

Катя провела «консилиум»: пригласила в дом толпу мужиков-врачей (среди них были и военные). Они разработали методику излечения Вани от этой военной болячки, от этой дури. И теперь с ним всегда сидела дома медсестра. Достали (с диким трудом) громоздкий ИВЛ. Переливали («доливали», как выразился один военврач) кровь. Ване полегчало. Но болел он еще долго — два с половиной месяца, до апреля, холодного и темного, как пустая деревянная пивная бочка, разохшаяся и пропускавшая свет только сквозь щели в дощатых боках. Бочка была закрыта и сверху, и снизу — дышать, с.ка, нечем.

Ваня часто бредил. И в часы дневного, самого тяжкого, и ночного, мягкого и интересно-го, увлекательного бреда приходила Она. Навестить. Поговорить. Помолчать. Она читала ему новые, неизвестные Ваней бог весть откуда прилетевшие стихи. Иногда напевала ему их, а он подпевал. Из Заболоцкого. Сон? Бред? Иванов бред?

*Жилец земли пятидесяти лет
Подобно всем счастливый и несчастный
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной...*

Дальше Николай Алексеевич-Иван барахтается в промежутках бытия и инобытия до тех пор, пока не встретит мальчика. Потом Николай-Иван-Она пропевают мир, идеальный, гуманный и разумный, чистый и духовный, ровный и почти радостный. А потом...

*Со мной бродил какой-то мальчуган
Болтал со мной о массе пустяковин
И даже он похожий на туман
Был больше материален чем духовен
Мы с мальчиком на озеро пошли
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто долетевшее с земли
Не торопясь рукою отодвинул...*

Или на два голоса напевали Тарковского.

*Третьи сутки дождь идет
Ковыряет серый лед
И ворона на березе
Мает клюв и перья мнет
(Дождь пройдет)
Недаром к прозе
(Все проходит)
сердце льнет
К бедной прозе на березе
На реке и за рекой
(Чуть не плача)
к бедной прозе
На бумаге под рукой...*

Она примолкла. А потом тихо сказала, глянув в окно:

— Ваня, ты куда хочешь-то? Куда?

— Я хочу быть сразу и здесь, и там, и между ними. Хочу быть здесьтам и тамздесь — сразу в двух, в трех местах — всюду.

— Ты уже всюду. Всюду и нигде. Такова твоя поэзия. Наша поэзия. Вся поэзия. Все ее музыки и музыки, мысли и смыслы, образы и пустоты, ритмы и паузы. Всюду и нигде. Вот тебе Олег. Фамилии не помню.

*Река темнеет в белых берегах
Пронесся ледоход неторопливо
И тишина зыбучая в лугах*

*Стоит недели за две до разлива
Я что-то потерял но что и где...*

...

И колесо колеблется в воде...

Иван улыбался. Иван-дурак...

— Во сне я мимо школы проходил

И выдержать не в силах разрыдался...

— Ты идешь мимо себя. Видишь себя. Осматриваешься. Оглядываешься. Оглядываешься — и видишь иного себя. Настоящего. Тебе плохо. Больно. Любовь твоя не умрет. Ты ее забудешь. Это страшнее смерти.

— Ничего не делать? Терпеть? Забывать.

— Не терпеть, а забывать. Собственно говоря, это одно и то же. Ты побывал там, где не бывает никто. А ты побывал. Ездил, летал, ходил *туда* на побывку. У каждого, у всякого и любого есть времяместо, где не бывал никто. Каждый боится его. Редкий ищет его. Ты его искал — и нашел. Ты без него теперь быть не сможешь. Sic?

— Sic... transit...

— Ну и так далее...

Вот я тебе прочитаю, Ваня, стихотворение одного фронтофика. Нет, не все — отрывки... а может быть, и все — целиком. Ты знаешь, *что это такое*...

*Нас хоронила артиллерия
Сначала нас она убила
Но не гнушаясь лицемерия
Теперь клялась что нас любила...*

— Прямо, как женщина, да?

— Да, только одноразово. Женщина тебя похоронит трижды в день. И — оживит... Вот, Вань, дальше.

*Она выламывалась жерлами
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы
Мы доверяли только морфию
По самой крайней мере брому
А те из нас что были мертвыми
Земле и никому другому...*

Ваня смотрел сквозь Нее, как сквозь экран, на котором мелькали рамки, звезды и цифры — кина ишо не было...

*Тут все еще ползут минируют
И принимают контрудары
А там уже иллюминируют
Набрасывают мемуары...*

— И выписывают себе орденские и медальные жестянки, бренчалки... С.ка, герои штабные... И эти... молчи-молчи...

— Каждому свое. Судьба — манья, губастая шлея («Господи, так бабушка говорила», — вздрогнул Иван)... Дальше.

*И там вдали от зоны гибельной
Циклюют и воцат паркеты
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету...*

— Но моих войн не было! — никто и нигде ничего не писал и не говорил. Я три слова дал — подписки о неразглашении... Нормально?..

— Да. Для войны и государства — нормально... Еще.

*И там по мановенью файеров
Взлетают стаи Лепешинских
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках...*

— Эт точ-но...

*Бойцы лежат им льет регалии
Монетный двор порой ночью
Но пулеметы обрыгали их
Блевотиною разрывною...*

— Хватит! Прошу вас — хватит!..

— Ваня, иди замочи под левую пятку минут шестьсот... Протемнение всегда сменится просветлением.

— И просвещением?

— Иногда. Спи. Я посижу с тобой. Ты сейчас один. Один — в себе. Всех выгнал из себя. Там у тебя *тот* свет. Спи. И ничего не трогай во сне. Тронешь — мир изменится. Или

погибнет. Не касайся того, что первее и старше тебя. Только дуновение. Воздуха. Звучащего. Спи прямо в стихи. Они сами за тебя все решат...

* * *

Сакен Абылхапов вытащил всех: из пяти бойцов четверо были ранены. Вовка в живот. Залили водкой это ранение. Перевязали-перетянули. Юра потерял кисть левой руки — осколок градовского снаряда. Матис Луйк, Ванайма, получил лицевое (носа почти не было) но глаза — целы! — снайпер жив... Васька, Дзинтарс с перебитой ногой — в колене, с.ка... Но глаза целы — снайпер есть, второй. Ваня обезножил: осколочное множественное обеих ног ниже коленок, но идти мог. Матерясь и плача от боли. Но — мог!.. Сакен получил 7, 62 в плечо с близкого расстояния. Чуть контужен. Перевязали. Перетянули. И Сакен один всех, по очереди, перетащил в красную щель, вулканическую, что ли? Примаскировал. Ушел за 15 км в сторону моря и связался с нашими, передал: мне то ли 41, то ли 17... То бишь квадрат 41–17... Все ждем. Шесть гранат Ф-1, 0 пулеметов, 5 АК-47, 5 наполовину пустых рожков, плюс — воды 7 фляжек, водки — 3, еды — 0, табак-с есть пока (у Вани — заначки: блок «Родопи» болгарских), и еще плюс — никто не ссыт, и все хотят драться, не воевать, а рвать мясо т.н. противника; рвать — и жрать его, чтобы обосрались наемнички хе.овы: здорово раздухарились. Выживем. Выплывем. Вынырнем. Прорвемся...

Болезнь прижимает тебя к смерти. А ты врежь болезни слева, подравняй строй: пусть стоит рядом — болезнь и смерть. Пусть посмотрят друг на друга. А пока они знакомятся — выруби их. Обоих. Они ведь не женщины — они грамматические бабы... Шульбер — харем...

Лежишь в алюминиевых трусах, ломом подпоясатый... весь в капельницах. Вены уже убегают от игры. Ставят в кистевые вены. Кулаки в синяках, как после хорошей драки. Весна. Неужели — весна?.. Воробьи считают серебряные ложки на крышах, в деревьях, на асфальтовых дорожках хрущёвского двора. Сказали: зараза проходит. Отступает. Но с боями. Береги фланги. Укрепляй фронт. Прикрывай тыл. Мракобесие болезни сменилось светобесием: больно смотреть на окно, на свет. Болезнь уходит от тебя, отходит и опять подбирается к тебе. Ты уходишь от себя к себе — в бред, в мысли безумные. Дальше от себя не уйдешь... Весна... Катя начинала бегать в сад, коллективный, четыре сотки с домиком, яблонями, кустами и грядками. В марте, еще по снегу, с ней в сад стали ходить обе Юли — большая и малая, как Медведицы ходят с неба на землю, если стоять ночью на горе, на скале, на взгляде своем, отвердевшем от боли, болезни, хвори, слабости и силы. Сила умирать равна слабости жить. Постоянно сидишь в себе и решаешь, прислушиваясь к себе: чего больше — умирания, слабости, укрепления?.. Ты добираешься до кухни (три метра пути!) и находишь на подоконнике среди цветочных горшков (сады, как говорит бабушка; она приезжает раз в неделю из Шатров, привозит трав, еды и денег; дед ездит чаще: поговорит с Ваней — и сидит в кухне, дверь прикроет и плачет; последний Орлов-Черминский, настоящий; воин; израненный, и круглый (медалька «За отвагу!») Георгий у него есть, а звезд не нужно: о них, о звездах, пишут в Евангелии — знак дьявола;

а звезды-то кругом — от Кремля до ж.пы трамвая)... Настоящий Орлов, не из тех, выскочек Екатерининских, а из тех, кто Орду гонял и Пугачёва-душегуба пленил... Дед плачет. Сын генерала от инфантерии (пехоты, — и ваниной морской пехоты — sic!), попавший в Совдепию, родил с голодухи дочь, Катю, а Катя родила (от проходимца-казачка-инженера) настоящего Орлова: высок, силен, умен, студент университета. Филолог: ну, ничего-ничего... Тоже неплохо. Будет в роду не генерал, а сочинитель вроде Гоголя и Тургенева... Потом они на постели больного играли в карты: покер, бридж и Блэк-Джек (двадцать одно). Оба азартные, но Ванька умнее, сдержаннее — недаром командир разведгруппы (до пятидесяти человек бывало в иных кампаниях: пять кампаний парень отработал; Катя, слава Богу, не знает, а бабка все знает — душой: вытягивает из глаз твоих всю информацию — молчи-не молчи...). Они резались в карты, пластались, ласково шелестели картоном, раскрашенным и разрисованным по ранжирам. Ваня поддавался. Иван Иванович злился (картинно, как Ноздрёв). Ваня хладнокровно громил деда — но не до конца — оставался шанс, которым дед пользовался на всю катушку — и выигрывал...

Кроме деда, бабушки, врачей и медсестры, в дом никого не пускали. Андрюха жил в Шатрах (совсем съехал на тройки — учебу забросил)... Ване не было скучно: он вызывал к себе и в себя кого хотел, но только тех, кого уже не было в живых: Лермонтова, Пушкина, Тютчева, Боратынского, Анненского, Заболоцкого и — на закуску — Ивана Семёновича Баркова, поэта огромного, первого русского чистого силлаботониста и матерщинника, охальника, хулигана (Маяковский с Есениным отдыхают) и остроумного сукинова сына...

Ване нашли книжку стихов Константина Левина. Прочел — на слезе, в слезах, с горечью в душе, в сердце, в головном мозге, во рту: палец лизнешь — тоже горький...

*Приходит пять и семь и девять
Вполне ничтожных лет
И все тускней в душе что делать
Серебряный твой след*

*Я рюмку медленно наполню
Я весел стар и глуп
И ничего-то я не помню
Ни рук твоих ни губ*

*На сердце ясно пусто чисто
Покойно и мертво
Неужто ничего
Почти что
Почти что ничего...*

Юля передавала приветы через мать. Они встречались втроем на улице: Катя, Юля и Куля (два годика! — на ручках не ездил — ходила в сад, а это три километра, сама, или, как она говорила: «сяма»... Выносливый ребенок. В папу.).

Солнце ранневесеннее не слепило, так как внутри, в душе Ивана, в воображении его это было иное солнце, другое — осеннее. Тебе казалось, что весна и осень поменялись местами: слабость телесная, слабость душевная, слабость умственная — все это и пугало тебя, и одновременно охраняло от того, что произошло. А произошла дикость, невообразимая гадость, мерзость, после которой жить было нельзя.

Юля с Кулей однажды зашли в уралмашевскую квартиру-лазарет, вместе с Катей, которая захлопоталась с чаем, закусками, с посудой, с языком своим, неуместно работавшим — в холостую. Ты ходил почти раздетый: голый по пояс, с капельницей на плече (как с ружьем 1812 года), в трениках с огромными пузырями на коленях, на заднице — хоть Монголию туда прячь вместе с Китаем. Неприглядный вид твой не смущал никого — будто ты болел всегда, всю свою жизнь. Ты ушел с Юлей в кухню, плотно закрыл ее и еще — для надежности — подпер дверь табуретом, самодельным, огромным, весящим с пуд (в саду изготовлен Ваней — еще пацаном). Она стояла у окна, упираясь бедром в газовую плиту. Ты сел со своим ружьем к столу. Она, после долгого молчания, сказала, видимо, дереву, клену, выросшему — под окном самостийно:

— Ты фашист...

Он молчал. А что тут скажешь: твоя жена на твоих глазах (аж сердце прихватило, будто облепили его пластилином)... Ты поймал себязв. Чуть не сдох... Да уж, фашист натуральный.

Ваня опустил голову так низко, что казался трехглавым: плечи стали дополнительными башками этого голого по пояс мужика... Она смотрела на его волосатую грудь, руки, на его отросшую бороду — ну, вылитый Достоевский в пору расстрела, или Шукшин в период загула — не малого, не среднего, но — вселенского... Ты вдруг начинаешь говорить, интонируя почти как Тарковский с пластинки.

*Отнятая у меня ночами
Плакавшая обо мне в нестрогом
Платье с детскими плечами
Лучший дар не возвращенный Богом...*

Она прислушалась. Совсем отвернулась к окну. И увидела там, на дворе, мужичка поддатого, волочившего автомобильное крыло прочь. «Крылья волочит...» — подумала она. «Что я делаю?!» — подумал он...

Ты молчишь. Юли засобирались. Катя вышла проводить их до троллейбуса (метро еще не построили). А ты вдруг, как всегда неожиданно, понимаешь, что виноват ты: это ты грешил всю жизнь. Издевался над младшим братом. Хотел убить отца. Убил засохшей коровой лепешкой гуся татарского. Украл у одноклассника кеды, новые, — извозякал их, составил и носил преспокойненько. От нищеты? Ну да. От нищеты духа. Чуть не убил мужика с ножиком куском асфальта. Воровал у покойного Коли сигареты для Гриши-татарина, учителя твоего по рыбалке. Вспомнилось: вы идете на ветхой лодчонке вдоль берега болотного озера — и вдруг вас обсыпает дробь, а потом вы слышите выстрел: у Гриши вся рожа в крови, у тебя — спина — дробинка последняя вышла из кожи на спине через почти двадцать лет. Ты ни с кем не дружил. Книги тебя любили. Но не убивал Сайнишвили, Гурама,

буйного полублатного козла. Но ты убивал. В пяти точках Земного шара. Война. Сходил в храм к священнику. Говорит: за правое дело. А может, оно было — в государственном отношении — левое?! Ты в бою не сдерживал себя. А кубинцы на юге Африки? Ножам порубили. Потом еще и дорубливали. А сколько вертолетов снесли с неба? Сколько пилотов? А охраннички с допросителями в Лаосе — троих положил. Азербайджанца обидел. До сих пор сидит в ресторанном кресле на тротуаре. А женщины? — Света, Вера, Оля, Юля, Инна и другие?.. Ты просто сваливал. Сбегал от них. Не то было. Не то. А чем ты думал? Сосиской своей?! Урод. Урод. Урод... А сколько морд разбил, поломал, перекошил? Это что? — не в зачет... Это все — точно идет в черный твой список. Список немтыря...

А еще: работал на законника. В России всегда три власти: официальная (монархическая или коллективно-монархическая: большевики, потом [в девяностых годах двадцатого века] жулики и прочая шваль); чиновничья (от номенклатурщиков, имевших свое микрогосударство в стране, — до псевдодемократических депутатов — из бандитов, чиновников, ельцинских миллиардеров etc); бандитская (окрепшая во время Великой войны и последней официальной — Великой отечественной; а также выпущенная на волю стая ельцинских соколов). И ты работал сразу и одновременно и на камунисов, на чиновников, и на бандитов. Что было делать? Что было поделать? Застрелиться? — Да!..

Ты участвовал в строительстве бандитско-чиновничьего коммунизма-социализма-пофизма. Грех. Пулю себе в лоб? Да!..

Темное место в дедовой жизни: Москва — цыгане — Урал — стало в твоей жизни материализованной мукой слушать ложь, молчать, участвовать в строительстве и работе советского и постсоветского вуза... Какой университет просрали! — Отдали его УПИ, тупому, полезному и эффективному вузу (20 тысяч студентов!). Господибожетымой...

В твоей семье: папа — сталинист и камунис; дядя (Коля) — офицер-электронщик, работавший на Байконуре; Катя — советский и уличный врач, лечащий всех — от людей до собак и котят; жена твоя Юля — из торгашеской семьи: деньги-квартиры-машины-жратва-тряпки; брат твой — будущий мент-бандит-вор-дерьмо, имеющий семь киосков на окраине города; остальные пригнулись к земле, к тарелкам, к пирогам, к соленьям и вареньям; ты — немтырь, говорящий в себя, думающий стихи, и тебе по барабану все эти хрущёвы-брежневы-андроповы-черненко-горбачёвы-ельцины и последующее ворье. Кто ты?.. Представитель отечественной словесности — научной и «художественной»? Ты — терпила. Пострадавший от себя. Ты уедешь, уже будучи доктором филологических наук и профессором, в деревню — не в Шатры: там все твой братишка продаст, прожрет, пропьет — и обидится на тебя. Навсегда. Собирал пустые бутылки на сдачу в ППП (приемный пункт посуды), потом собирал денюжки, потом забухал и т. д. и т. п. Кто ты? Зачем ты? Откуда ты? Куда ты?..

Ты читатель и носитель стихов. Ты любишь Верлена, Бодлера, Рембо, Шекспира, Данте (семь раз прочел и знал почти наизусть «Божественную комедию», «Новую жизнь»), Рильке, брата Мандельштама по тому (не — этому) свету, свету поэтическому, беспредельному... Сейчас ты, перестав умирать от сибирской язвы, открыл Давида Самойлова, поэта, бойца, тартусского отшельника...

*Светает поздно К девяти
И долог этот час светанья
Где начинается свет расти...*

*Когда-нибудь и мы расскажем
Как мы живем иным пейзажем
Где море озаряет нас
Где пишет на песке как гений
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает осердясь...*

Свет растет в тебе. И ты живешь иным пейзажем. Своим. Ты сам себе творец своего места. Оно в тебе, в твоём воображении. Там нет времени, и там все живы. Все поэты. Все музыканты. А театралы доигрывают свои ничтожные роли в земле. И все равно всех — всех — жалко... Всех, кто неодушевлен. Всех, кто расчеловечен. Всех, кто пуст.

*И жалко всех и вся и жалко
Закушенного полушалка
Когда одна вдоль дюн бегом
Душа несчастная гречанка
А перед ней взлетает чайка
И больше никого кругом...*

Ты попробовал быть всеми. Быть всем. Но этих всех и этого всего, оказалось, нет. Ты их придумал. Они просто живут и очерчивают круг: это мы, все и все...

Катя оставляла Кулю ночевать... Начались игры: чей ребенок? С кем ей лучше? Дочке, девочке, нужен отец!.. Мать вся измучилась. Вконец... Но Юля сделала верный ход: она влюбила Катю в Кулю, во внуку, — в «Свою внуку!..» Виноватым во всем: и в разрыве, и в уходе, и в болезни, и в измене, и в холодной весне, и во всем на свете — оказался Ваня, немтырь хренов... Но морпех держался. На Юлю даже не смотрел — пускал взгляд, как длинную очередь из ПКТ, мимо, рядом — но мимо: чаще в окно, в крест окна (в доме три креста! — не нагладишься. Ком горловой давно уже рассосался, как галечка солевая. Но зрение воспринимало лишь монохромную основу, черно-белый кариес мира.

*Свиданий наших первые мгновенья
Мы праздновали как Богоявление...*

— Ну-ну... Ага... А как же. Куды деваться-то? Гоша едет на машине — чирик-ху.к-пиз.ык-ку-ку... Ку-ку... Как говорят менты, «вряд ли всего» — конец. Начался черно-белый бесконечный и бессонный фильм «С безымянного пальца кольцо / В третий раз поневоле скатилось / Из-под каменной маски светилось / Искаженное горем лицо...» Не светилось, а темнело, смеркалось, исчезало... О самоубийстве Иван не думал: рано — то ли еще будет... Он знал,

чувствовал все наперед. Он даже сроки назначил: вернусь — проживем в целом 14 лет, три из них будут сказочно и отстраненно прекрасными. А потом Юля с тобой разведется: ну не тот ты, кем должен быть; нищий, немтырь, неперспективный. Обиды не было: что обижаться-то на смерть? Смерть уже произошла. Ты теперь не жив, но рожден смертью: ты, однако, товарищ старший матрос и молодой филолог, и еще моложе (по советским, воровским, понятиям) стихотворец-авангардист, футурист, то бишь фашист (как Маринетти), ты не народен, но общественен, не камунисичен, не ленинец, не сталинец, ты — с.ка, гитлеровец; мы, с.ка, кровь проливали за прекрасные стихи Симонова, Твардовского, Егора Исаева и даже Роберта Рождественского (он уже покаялся, он наш). А ты — чужд социалистической действительности.

Ты умер, но смерть тебя родила заново, не воссоздала, но именно изготовила тебя — уже иным.

*Свиданий наших первые мгновенья
Мы праздновали как Богоявление...*

И — финал:

*Когда судьба по следу шла за нами
Как сумасшедший с бритвою в руке...*

* * *

Истерика? Нет: равнодушное понимание того, что произошло. Роль смертельно живого оказалась не тяжелой и страшной, — когда ужаснее было состояние думания того, что никогда не будет опубликовано: Меня Никогда В СССР Не Напечатают И Не Издадут. И это, Ванюша, нормально. У твоего поколения не было своей Великой Отечественной — и твое поколение сопьется, сдохнет и останется непрочитанным. Нет, конечно, были в твоём поколении литературные козлы, уроды и извращенцы: их именами еще библиотеки назовут в заштатных умирающих городках, городишках, поселках. Потом эти библиотеки исчезнут — их сожрет Интернет. Он все сожрет. Все — кроме таланта... Ты тяжело переживаешь, проживаешь, изживаешь и оживляешь свой т.н. талант. Он — онтологичен; и от прелестей общества и государства не зависит. Это обещает тебе свободу, волю и силу думать стихи...

В бессонные ночи приходил Тарковский. Арсений Александрович включал проигрыватель и выбирал пластинку: «О! "Картинки с выставки"! или: "Барочники" (не путать с барачниками!) в транскрипции Баха; Марчелло... Да-а-с...» Звучала волшебная музыка. И ты вспоминаешь стихи Тарковского.

*Влажной землей из окна потянуло
Укусной пролью хмельнее вина
Мать подошла и в окно заглянула
И потянуло землей из окна*

— *В зимней истоме у матери в доме
Спи как ржаное зерно в черноземе
И не заботься о смертном конце*

— *Без сновидений как Лазарь во гробе
Спи до весны в материнской утробе
Выйдешь из гроба в зеленом венце...*

Ты спишь — не спишь, как ржаное зерно в черноземе... В Шатрах. И потом гуляешь по лунной деревне, почти Гоголевской, такой живой и мертвой, но чудесной и божественно бледной. Ты знаешь все о себе и ничего не знаешь об этом — летом — зимнем свете, любуемся с луны на крыши крестьянских построек и на сады, и на мясистые кусты картошки и на листву трех громадных тополей, которые возросли здесь из семян, упавших с луны...

В мае Иван вышел из болезни. Через день-два раздумий: возвращаться на филфак или нет — он, вспомнив слова Веры Васильевны Глазыриной «учись, Ваня, хорошо, я хочу оставить вас на кафедре в качестве ассистента», — вдруг понял, что в одной фразе профессор, завкаф и ведущий лексиколог России обращается к нему как к двум разным персонам — на ты и на вы. Как к парню, видимо, не совсем тупому, и как к мужику, который является человеком серьезным (женат, дочь, в армии служил, на заводе работал, да и на факультете лицо приятное: борода, редактор стенной газеты «Словарь», — сам назвал — суффикс «-арь» здесь со значением деятеля, то бишь тот, кто работает со словом [«Тише, Женя работает со словом!»] — так говаривала Лена, жена Жени Озимова, сочинявшего стихи, рассказы, пьесы, игравшего на гитаре и носившего на запястье жирную татуировку «Beatles»)]... Ты ходишь по единственной комнате, по диагонали, как в одиночке, но — от окна к окну, а не от стены к стенке. Ты проходишь всякий раз мимо двух зеркал: круглого (модерн, подарил Кате на ДР) и прямоугольного, в деревянной гоголевской раме, это зеркало сделал дед. И само зеркало, и раму прекрасную, но не мещанского пошиба, а дворянски строгую, но строгую, но сложную по резьбе (токарной, ручной — резцом), а значит, простую. Дерево было некрашеное. Дерево было золотое. Не золотистое — но золотое, как сердце сосны... Зеркальце — зеркало — зерцало — окно — лужа — река — озерцо — озеро — залив морской — пролив — море — океан: мир этот состоит из зеркал, точнее — стоит, движется, летит, гибнет и возрождается на зеркале. На зеркалах. Прилив зеркал рождает этот мир, появляет его. Отлив — уничтожает. Синтез времени и пространства вывел нас на зеркала. Недаром индейцы майя отдавали пуды золота за зеркальце — португальцам, испанцам и прочим проходимцам, — обретая могучий хронотоп, сжатый в кулаке, поднесенный к зрачку, к сердцу. И ты перетекаешь — весь — сквозь свой зрачок в это зеркальце, и — глубже, глубже, глубже — до полый, тотальной, абсолютной синевы иной прозрачности, иного зренья, иного существования, иного бытия...

* * *

В доме со «Спортоварами», где в первом подъезде жила Юлия с сестрой и матерью, в двушке, но сталинской постройки, с баскетбольными потолками, в доме этом (всегда крашенном чем-то бледно-зеленым, как океанское зеркало), в третьем подъезде жила бабушка Вериги. Ее, по всей видимости, знал весь квартал, весь микрорайон, весь центр Свердловска: это была очень пожилая женщина, то ли испанка, то ли еврейка. Ваня знал ее по магазину «Академкнига», они часто натыкались друг на друга глазами — до тех пор, пока не начали здороваться. Здоровались-здоровались, раскланивались-раскланивались — и заговорили. Однажды. Неожиданно для обоих. Бабушка Вериги пользовалась в своем (огромном!) дворе полудурной славой то ли полуведьмы, то ли полубезумной... Оказалось, бабушка Вериги любила Гегеля и особенно Канта. Иммануила. Для Ивана — Иммануила Великого... Болтали (женщины и полуженщины и детвора), что она по ночам качается на детских качелях с распущенными седыми, очень длинными, до попы, волосами, держа на груди двух котят — черного и белого. Котята тоже любили ночные качели в пустом мироздании... Через полгода бабушка Вериги полупопросила у Вани почитать его полустихи, котрые дошли до нее в списках (третий-пятый экземпляр машинописи под копирку). Бабушка прочла Ванину писанину (дюжину коротеньких стишков) и, поймав его в «Академкниге», испросила его разрешение оставить сии опусы себе... Получив смущенное разрешение, она глянула Ване в глаза — коротко, черноглазо и глубоко, как зеркало, — и промолвила: «Иван Васильевич, вы поэт («пооэт»)...» «Вряд ли всего», — отозвался Ваня полушутливо, полуозорно: «Еш конфеты ф шкафу, да?..» Они рассмеялись, отсекая двадцатый век, и, кажется, рассмотрели и полуузнали друг друга. Полуузнали в полумире, в полустране, в полувечном полуголоде, в полусвободе без воли, но в полной красоте всего на свете...

В Юлином подъезде дома над «Спортоварами» жила одна из дочерей Бориса Ельцина — та, которая скромнее, добрее и умней своей бойкой Наинообразной сестры. Иногда, редко, нет, редковато Ваня сталкивался на узковатой полусталинской подъездной, межэтажной, лестнице с самим Борисом Николаевичем. Обычно, если не всегда, он был отчетливо пьян, тяжел и угрюм, но не шептался и не безобразничал, как все уральские алкаши, горнозаводские, чиновные и простонародные. На третьей лестничной встрече Б. Н. спросил Ваню: — В волейбол не играешь? Вишь, длинный какой...

Так и познакомились. Иногда стояли на межэтажной площадке и курили, стряхивая сигаретный пепел в баночку из-под бычков (для «бычков»!), прикрученную проволокой (алюминиевой) к перильцам приоконным. Б. Н. был прост в разговоре. Узнав, что Ваня «жених» (слово Б. Н.) Юли, дочери Арнольда Гололобова, сокурсника Б. Н. по стройфаку УПИ и сотоварища Б. Н. по волейбольной сборной института, Б. Н. оживился. И глянул на Ваню, как на сына, ну, полусына или племяша. Иногда Б. Н. предлагал шлифануть «выпитое до того», коньячком или лучше водочкой, и они спускались во двор, Ваня бежал за пузырем в ЦГ, потом усаживались на скамеечку под густую сень сирени — и становились невидимыми. Б. Н. жаловался на Наину, жену свою: руглива была. Но ругала она его иезуитски — молча. Молчанка бабья страшнее мордобоя. Б. Н. отсыпался после принятого внутрь у дочки, в ее квартирке. Потом через часок-другой вставал, шел под душ. Пил креп-

кий чай. Разжевывал мускатный орех и катал его во рту до встречи с молчалиницей-начальницей. Запах спиртного отшибало, как память контузией. Б. Н. был уже первым секретарем Свердловского обкома КПСС, но явно собирался в Москву. Но как? Как один из его предшественников Кириленко, зарезавший весь скот в области и окрест, сдав, естественно, мяса государству (Москве!) больше всех, — он, подлец, сразу был переведен поближе к кремлю, стал членом политбюро — гном со сморщенной рожицей и ненавидимый уральцами до скончания веков...

* * *

Примирение произошло в конце мая, в самое безумное время, когда живое ищет живое, чтобы, убивая себя и себе подобное, любить. Только это другая любовь — мощно животная, похотливо-непременная и дурная. Они с Юлей сидели на лекции, но порознь, в разных концах большой аудитории. Ваня отправил ей записку: «Пошли отсюда? Прямо сейчас?» Юля получила записку, прочла и встала, и он встал. Они вышли — без извинений и раскланиваний — из аудитории, из университета, из себя — в себя...

*...Иголки черные и сосен чешуя
И брызжет из-под багровая брусника
И веки пальцами я раздираю дико
И тело хочет жить и разве это я...*

*И разве это я ищу сгоревшим ртом
Колен сухих корней и как во время оно
Земля глотает кровь и сестры Фазтона
Преображаются и плачут янтаре...*

И тело хочет жить, забывая о душе, которая так надсажена ужасом безвременья любовного и вечностью безлюбовной, что ты постоянно кричишь в себя, как в пропасть. И земля, напивавшись кровью твоей, пустила кровь свою в себя: и ладони твои пахнут травой, землей и водой. И — огнем...

Ванина теща Светлана Гололобова «сварганила» молодым и помирившимся комнату в доме сталинской (древней уже) постройки — двадцать кв. м. в коммуналке. В двух меньших по площади комнатах жили одиночки: горький пьяница и толстая нечесаная баба — первый не докучал, вторая же вечно торчала в ванной, куда попасть было трудно да и невесело. Везде была видна кровь: на стенах, на полу, в умывальнике и в ванне. Тетенька то ли устраивала свою личную жизнь, то ли работала проституткой, поэтому часто делала криминальные аборты: ванна с окровавленной очень горячей водой и длинные толстые вязальные спицы, коими происходило самоочищение утробы. Юля здесь жить не могла. Иван изредка заходил в их комнату-комнатищу с друзьями-сочинителями выпить да послушать самодельные стихи, прозу или поорать песни Высоцкого с Высоцким же, оравшим свои опусы с магнитофонной ленты. Было весело и неудобно. Балкона не было — курили в ком-

натории до рези в глазах... Вскоре теща, женщина пробивная и всех-знающая, как-то разменяла все на свете на кое-что, и Юле с Ваней досталась однушка в девятиэтажной брежневской стене (семиподъездная машина — по тем временам в городе Бажова — редкость)...

Гололобовы съезжали, разъезжаясь по закоулкам, но поближе к центру. Арнольд Борисыч, тесть, давно ушел от Светланы к другой Светлане, которая родила ему дочь. Светлана Первая психовала и была сверхактивна. Бабушка Васильевна, мать Арнольда, бушевала в своей двушке хрущёвской, недалеко от центра. Семья была, как говорили в те времена, продуманная, то бишь «умела жить» при любой власти. Единственным необычным и «неторговым» человеком была сестра Юли, младшая — Мария, она училась в консерватории, любила Шостаковича и все такое.

С Б. Н. Ваня попрощался — навсегда — в его том неопределенном состоянии и статусе, — разом и обычным образом: они напились, столкнувшись у подъезда — Ваня выходил из этого спорттоварного дома навсегда — Б. Н. входил в дом отсыпаться после пьянки. Они обнялись. Взяли водки и просидели на заветной скамеечке под сиренью до поздней ночи.

— Б. Н., что с вами? Вам плохо?

— Нет, Вань, я мысленно получаю часть завтрашних пилюлей от жены...

Так печально и разошлись. Навсегда. Б. Н. ждали будущие реформаторы — комсомольские капиталисты. Ивана ждали только стихи. Он сидел, уже один, на скамеечке, и сирень касалась его рук, его лица и слез на щеках. Пьяных слез? Нет, скорее, слез сирени, которая плакала Ваней.

*Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпья положил*

*Он понял масла густоту
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето
Расширенное в духоту...*

Приближался глубокий обморок страны. Струпья снега, смерти, самоубийства... Прикроют срам весенне-летней красоты. Срам красоты и духоты. Духоты советской, российской, уральской. Духоты планетарной. Духоты вселенской.

Евгений СТЕПАНОВ

МАРТ-ИЮНЬ 2024

САМОЕ БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ

Самое бесполезное занятие — рассказывать волкам о пользе лечебного голодания.

В ТАКСИ

Еду в такси домой.

Водитель (милый, улыбчивый круглолицый человек) ведет машину, а по смартфону смотрит кино. Да, ведет машину и смотрит кино... Какую-то заграничную комедию.

Я начинаю подозревать, что поездка для нас может быть не очень веселой.

Спрашиваю:

— Может быть, мы сейчас остановимся, вместе посмотрим кино, а потом поедem дальше?

Водитель вежливо отвечает:

— Да, вы не волнуйтесь. Я вас довезу нормально.

— А я все-таки волнуюсь, — отвечаю.

— Ну, хорошо, — идет на уступки водитель. — Можно и не смотреть кино.

И выключает кино.

Доехали нормально.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и координатор портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

Борис КОЛЫМАГИН

ГЕННАДИЙ АЙГИ И РУССКАЯ КЛАССИКА

В исторической науке есть термин «пережиток» (survival). Как замечает Лев Карсавин, по сути, всякий исторический источник есть переживающий себя, живущее в настоящем прошлое [1].

Конечно, в обычном смысле «пережитком» называют то, что себя изжило, но продолжает быть, вроде веры в существование ведьм. Но это поверхностное представление.

Survival есть прошлое, которое живо. Можно назвать им, например, классическую литературу. Ее герои возникают здесь и сейчас, хотя они не думают и не чувствуют так, как наши современники. И все-таки главное отличие «литературных пережитков» не в образе героев, а в тех идеях, на которых стоит текст. Скажем, под стихами в разные эпохи могут пониматься вещи, отстоящие далеко друг от друга. И эта разность уходит в наши общие представления. Мы существуем в разных мифологических структурах. Между прошлым и настоящим пропасть.

Некоторые наивные авторы, малоизвестные сегодня, надеются, что после своей смерти какой-нибудь внимательный читатель откроет их широкой публике. Но эти надежды тщетны, поскольку между поколениями и временами — глубокая яма. Да, иногда настоящее что-то вылавливает в полузабытом вчера, разматывает его на свои нужды, устраивает с малознакомым текстом литературоведческую игру. Но эти примеры единичны. А ушедших в небытие — тьмы.

Текст не живет поверх времени. Он, если востребован, всегда и везде встроен в настоящее. Survival, кроме «пережитка», имеет еще и главное словарное значение — «выживание». Текст, если он хорош, выживает. Но не во времени, время может его закрыть, а поверх него.

Стихи Геннадия Айги, которые сегодня сами стали «пережитком», демонстрируют нам заинтересованную работу с классикой. Поэт вступает в диалог поколений. При этом размах этого диалога во многом обусловлен поэтикой.

Размышляя об особенностях стиля, биографии и посмертного присутствия классиков в поле культуры, Айги онтологизирует «пережитки», сдвигает ракурс нашего зрения из поэтической области в философскую плоскость. Приведем некоторые примеры.

Вот стихотворение «Дом поэта в Вологде», посвященное сошедшему с ума Батюшкову. Айги погружается в покои вологодского дома, описывает атмосферу, которая с одной стороны уходит в вещи и пространство, а с другой — во внутренний мир «лица живого — / таящегося / как драгоценность: / среди шелка / ветра / и лучей» [2]. Внешнее сигнализирует о потаенном. Потаенное выходит на поверхность: только кожа, только лицо. Ничего, кроме «сияния его дрожи». Бестелесное событие происходит здесь и сейчас, «в меняющемся лице», в этом настоящем, лишенном всякой казуальности. Минимум движения присутствует в растянутом «сейчас», где нет никакого становления, где все существует в своей

данности. Время-отрезок Батюшкова не может делиться, как у обычных людей, на прошлое и будущее. Оно тянется и одновременно сжимается: мы не движемся от бескрайнего настоящего вперед, не оглядываемся назад. Мы здесь, в этом малом, вечном мгновении, где экзистенция исключается — нет никакого футурологического проекта, нет даже, если воспользоваться словами Хайдеггера, бытия к смерти. О смерти Батюшков ничего не знает.

Вот поэтическое полотно «Константин Леонтьев: утро в Оптиной пустыни» [3]. Известно, что автор трактата «Восток, Россия и Славянство» с 1887 года жил в обители — сначала как мирянин, снимал двухэтажный дом у самой монастырской стены, затем принял тайный постриг, стал иеромонахом Климентом. Однако эти биографические подробности Айги не волнуют. Его интересует внутреннее состояние писателя, зачеркнувшего суету современности и погрузившегося в бытийное пространство:

снова — такое же поле
как будто не видишь:

в горнице — будто — из боли своей сознаешь:
ярко — в такую же — бывшую — ширь!

Здесь, в этом медитативном письме, реалии ускользают, остается только это «есть», единое, которое присутствует во многом. Многое не в силах существовать без него, потому что будет рассыпаться до бесконечности. Но само единое не нуждается во многом. Оно просто «есть»:

есть — как тогда!
за окном
беспрестанно...

Айги вводит в переживание бытия время («как тогда»), то есть трагедию. Ведь бытие в самом себе не несет боли. А тут: «из боли своей сознаешь». Кто знаком с творчеством Леонтьева, легко может дописать картину. Услышать его сетования по поводу того, что индивидуализм убивает личность, что красота уходит из мира, что поклонение человеку пересилило любовь к Богу, веру в Церковь и священные права семьи.

Но можно не дописывать, поскольку поэту важен не исторический персонаж, а просто человек, встретивший вечность. Леонтьев не смотрит в сторону монастырских храмов. Его взгляд устремлен за церковную ограду — в поле:

и — время от времени:

темью при комьях белеющих:

самообъяснимо — что е с т ь

Единое выговаривает себя само, открывается человеку через вот-бытие, которое близко, но уже далеко. Оно не превращается, как у Блока, в мистический сквознячок, не барахтается в безумии дней и ночей, а просто растворяется в гомогенном времени-пространстве, где только отдельные неясные образы — белеющие комья — говорят о действительности.

А вот стихотворение «Прогулка: гвоздики на могиле Владимира Соловьёва» (1969) [4]. Автор, по всей видимости, посещает кладбище Новодевичьего монастыря, где покоится прах писателя. Но никаких внешних примет в тексте нет. Айги всматривается духовным взором в ту «ясность», которая возникает из «боли». Видит в ее «однородности» «голубого три острова» и слышит «детские трубы», «все а по очереди». Непонятное входит в понятное, неотчетливое в отчетливое — и совершается уход в неясное, в мистику: «глас холода тонка» — цитата из славянской Библии. Впрочем, это непонятное, тайное отчетливо отражает поэтику Соловьёва: один план накладывается на другой.

Стоит отметить, что для Айги крайне важен зрительный ряд, его поэтика сдвинута в сторону визуальности. Не случайно, что обращаясь к классике, он создает фотореальные полотна. Так, в тексте «Подросток-в-старце (к фотографии Достоевского 1879 года)» (1982) он изображает Фёдора Михайловича крупным планом. Это совсем небольшое произведение, где движения крайне мало. Мы схватываем визуальный контекст, работаем взглядом.

А взгляд выхватывает «из мрака-высоты» пол-лица, двоится «как будто смесью духа с костью», и двигается дальше, «пол лица — назад» [5].

К фотореализму Айги обращается не только, когда вспоминает классиков, но и когда посещает памятные места. Скажем, поэт посвятил строению, где жил Гоголь, текст «Дом Гоголя: ремонт». Любопытно, что внешняя реальность у поэта уходит в гоголевскую фантазмагорию и стыкуется с реальностью внутренней: «а в полночь / знаки выступают / из укрываемых — как под плащом — порезов: // (они и в мыслях/здесь — всегда): // подобно каплям крови птичьей! — / и в вяло-брошенной душе московской тьмы» [6].

Не стоит, однако, думать, что поэт ограничивается только визуальностью. В ряде текстов он касается поэтики классиков, по-своему интерпретируя их поэтическую походку. Так, в стихотворении 1977 года «Холм: сосны: полдень (из Гумилёва)» чуть измененной цитатой он показывает особенность гумилёвской поэтики:

Солнце
Остановленное
Словом [7].

В самом деле, в этом неопределенно-личном предложении все ясно, прозрачно: дух сильнее материи. Поэт не сообщает, кто конкретно останавливает солнце, для него важно, что невидимое слово обладает подобной силой. Но тут же у читателей возникают вопросы — что это? Образец присвоенного чужого стихотворения? Или перемещение события из времени (у Гумилёва «солнце останавливали словом») в вечность? Или констатация того факта, что андеграунд читает погибшего от рук советской власти поэта?

Наверное, и то, и другое, и третье. Чужие стихи активно цитируются подпольем и, таким образом, присваиваются. Поэтическая строка улетает в бесконечность и, таким образом, отрывается от контекста. Не напечатанные же в Советском Союзе авторы ходят в самиздате.

Приведем еще один пример интерпретации другой поэтики. Речь идет о хлебниковском «Кузнечике», отраженном в стихотворении Айги «Третий кузнечик» (1967). В нем он проводит линию от русского футуриста через американца Каммингса к себе. Айги превращает насекомое в знак, так и говорит: «знак-кузнечик». И он, во-первых, «знак — Разуму: быть стражем!». И, во-вторых, «знак препинанья», в котором «немного Поле/и немного — Бог» [8]. Как это может быть? Понять это до конца трудно. Может быть, и не надо. Ведь мудрость Айги неотделима от его поэтической походки, прозой ее выразить невозможно.

Согласно Айги, слова предназначены для того, чтобы творить незримо-ощутимые напряжения по универсальным законам. Звук, рифма, повторы, на которых держится хлебниковский «Кузнечик», претерпевают серьезную трансформацию. Философские моменты в тексте входят в плотное взаимодействие с визуальными элементами, отодвигая динамику звукописи немного в сторону. Стихи Айги — статика и углубление в едва схватываемую дневным сознанием реальность.

Замечу в контексте нашего разговора, что для Айги определенную проблему составляет положительное отношение Хлебникова к советской власти. «Многие идеи хлебниковской эпохи, — говорит он в эссе о будетлянине, — отошли в прошлое. Даже те "предвидения" Хлебникова, которые исполнились, свидетельствуют, на мой взгляд, лишь о начале конца всяческих утопий». «Думаю, что сейчас уже — не вина поэта, если кто-то продолжает искушаться в нем теми его "благими намерениями", которые пережили себя, которые пережила его блестящая поэзия», — считает Айги [9].

Пора подвести краткие итоги. «Литературные пережитки», с которыми взаимодействовал Геннадий Айги, интересовали его в визуальном и поэтическом плане. Он видел в них размах вселенскости, в которой «расширенная боль экзистенции» [10].

Примечания

- [1]. Карсавин Л. П. Философия истории — СПб.: АО «Комплект», 1993, с. 287.
- [2]. Айги Г. Отмеченная зима — Париж: Синтаксис, 1982, с. 115.
- [3]. Айги Г. Отмеченная зима — Париж: Синтаксис, 1982, с. 83, 84.
- [4]. Айги Г. Теперь всегда снега: Стихи разных лет — М.: Советский писатель, 1992, с. 96, 97.
- [5]. Айги Г. Теперь всегда снега: Стихи разных лет — М.: Советский писатель, 1992, с. 251.
- [6]. Айги Г. Отмеченная зима — Париж: Синтаксис, 1982, с. 415.
- [7]. Айги Г. Отмеченная зима — Париж: Синтаксис, 1982, с. 294.
- [8]. Айги Г. Отмеченная зима — Париж: Синтаксис, 1982, с. 432.
- [9]. Айги Г. «Листки в ветер праздника: К столетию Велимира Хлебникова» // «Дружба народов», 1994, № 8.
- [10]. Айги Г. Листки в ветер праздника: К столетию Велимира Хлебникова // «Дружба народов», 1994, № 8.

**Vladislav Chodasevic. Europäische Nacht. Европейская ночь.
Gedichte. Russisch/Deutsch. Üb. von Adrian Wanner. Arco
Verlag, Wuppertal, 2014**

Если в XIX веке наш сумеречный гений высказывал серьезную надежду на целительную силу поэзии:

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблуждение
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзии святая
И мир отдаст причастнице своей.

То в XX веке, в значительной мере последователь Евгения Боратынского, и уже ночной гений, Владислав Ходасевич не оставлял ни малейших надежд.

Вот его-то поэзию и решил пересотворить на немецком профессор славистики Пенсильванского университета, знаток русской поэзии Адриан Ваннер.

Он сделал выборку из четырех книг плюс последний цикл «Европейская ночь». По нему и названа книга.

Поэт нарастающего скепсиса, мастер убийственных концовок стихов, в этом цикле Ходасевич достигает апокалиптических откровений:

И в этой жизни мне дороже
Всех гармонических красот —
Дрожь, побежавшая по коже,
Иль ужаса холодный пот.

В немецком варианте, из-за особенностей языка, ощущение усиливается:

In diesem Leben sind mir lieber
Als alle Harmonie der Welt
Der kalte Schweiß, das bange Zittern,
Der Schauer, der die Haut befällt...

Адриан Ваннер четко следует строго прорифмованным путем Ходасевича «по чуждым сферам бытия», где «неузнанный проходит Каин» «под внезапный треск жалюзи».

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. лауреат премии «Писатель XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века.

Ощущение грандиозного цивилизационного краха нарастает в берлинских стихах цикла и затем продлевается в парижских. Этот цикл пишется ровно 100 лет назад, в основном с 1922 по 1925 год! Как будто в параллель «Закату Европы» Шпенглера, появившемуся в те же годы.

Потрясение от этих стихов не ослабело за столетие. Может быть, поэтому они оказались пересотворены швейцарско-американским славистом...

О, если бы вы знали сами,
Европы темные сыны,
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены!

Oh, wenn ihr wüßtet, dumpfe Banden,
Europas Söhne ungeschlacht,
Was noch für Wellen euch durchbranden
Versteckt und lautlos in der Nacht!

Лукин И. Б. (Иван Соловей), «Я НЕБО»

Избранное: стихи, проза, дневники, заметки, письма / Ред.-сост. Б. И. Лукин.

М: Литературный институт им. А. М. Горького, 2024

Представьте себе: живет на свете молодой человек. Яркий, талантливый. Учится в творческом вузе. Поэт. Прозаик. Драматург. И вдруг — бросает все и резко меняет жизнь, бросает институт, уходит в армию. Становится солдатом. Для среднестатистического гражданина — уму непостижимо: зачем? Ведь все есть: молодой, красивый, учись на здоровье и живи в свое удовольствие...

Книга избранных произведений поэта-воина Ивана Лукина дает ответ на этот вопрос: потому что не мог по-другому. Потому что ощущал: литературная среда не дает того, чего искала душа. В опубликованных на страницах этой книги материалах из записных книжек поэта мы находим поразительные слова: *«В конце концов я перестал мучиться и выбрал свою форму обмана — моим обманом стали кино и литература, но, в отличие от многих обманов, которые скрывают или с помощью которых наживаются на обманутых, я обманутым через обман открывал правду. И тем самым я спасаю и оправдываю себя. Иначе я жить не могу»*. Это внутреннее ощущение: «Хочу, чтобы все было по-настоящему, по-честному» живет в каждом человеке, и есть у него имя: мучительная жажда Бога. Именно эта тяга рождает героев. Именно она вынуждает покинуть уютный мирок: как же можно отсиживаться за спинами других, когда Родина в опасности?

И снова — строки из записных книжек:

Прохожу армию в режиме войны —
Передал друзьям мечты.

Противопоставляя два мира, поэт вкладывает в это стихотворение осознание перемещения из одного пространства в другое: оттуда, где жизнь можно строить, сообразуясь лишь с собственной волей, туда, где отрекаешься от себя во имя высокой ценности воинского служения. Понятна связь этих предложений через тире — опрокидываешься сразу в новое качество, не успевая додумать, осознать, оплакать, что отныне твоя жизнь принадлежит тебе меньше, чем когда бы то ни было, ее фактически просто нет. Ничего себе: тактически и стратегически поведение отныне определяется старшими по званию, а жизнь полностью препоручается Всевышнему. Но главное: это все не просто так. Воин идет в бой, чтобы другие жили. Морской пехотинец Иван Лукин героически погиб при освобождении Мариуполя.

...Отец Ивана, писатель Борис Иванович Лукин, видел его своим наследником и вкладывал в это слово смысл, прежде всего, духовный: наследие, а не наследство определяет, как будут жить потомки — в благословении или страдании. Эта книга так и выглядит — духовным завещанием. Составленная Иваном еще при жизни, она послужит напутствием сомневающимся и отповедью — тем, кто не был на войне, но презрительно ухмыляется: стреляют где-то там, на краю географии, и вообще нас это не касается.

Борису Ивановичу пришлось взять на себя труд редактора, издать и познакомить читателя с данным сборником, оттого мы имеем возможность познакомиться с творчеством поэта

не только тет-а-тет — через непосредственно текст. Отец и сын выступают соавторами и служат живым примером связи между поколениями. Так, по-хорошему, и должно быть: отец должен быть готов выслушать и понять сына, тот отвечает ему с уважением и доверием. Их переписку (Иван на тот момент, еще до начала специальной военной операции, уже находился на службе в рядах ВС РФ) нельзя читать быстро, пролистывая. Лишь осторожно, как бы отводя взгляд: не для нас она предназначалась, и не случись то, что случилось, была бы она скрыта от посторонних глаз. Мы только можем хотя бы попытаться представить себе, что испытывал отец, когда читаем обращенные к сыну строки: *«Я всегда рад видеть твою уверенность и жизнерадостность. Это твое состояние поддерживает меня. А мне в последнее время очень непросто справляться со своим унынием. / Бог в помощь, дорогой мой сын»*.

...Учась в Литературном институте, он выбрал для себя псевдоним Иван Соловей. Будто бы в противовес насилию, колоссальному давлению, оказываемому обществом на человека чувствующего, со-настроенного не с алчными помыслами мира сего, но с тем непознанным, к чему дано прикоснуться единицам. Иван, да еще и Соловей — два русских слова, за которыми стоит целый полк смыслов. И если об Иване мы узнаем из русских сказок, то образ Соловья отнюдь не чисто фольклорен: это один из самых распространенных образов русской лирики. Это — огромная ответственность. Назвался — соответствуй.

С первой страницы понятно — избрано то самое имя. Соловьи водятся только там, где есть заросли, нетронутая природа. Так и самое важное — высокое христианское начало — в стихах Ивана Лукина остается сугубо личным:

БТРы вспахали колесами землю.
Я устремляю взгляд к небу —
к Богу, которого там нету
для многих, но только не для меня.

Это — подлинная молитва. Человек просто отрешается от всего в безмолвном общении с Создателем. Нет ему дела до других, и смотрит он на своих товарищей без осуждения, но с тревогой и состраданием: на кого же они надеются, в чем их духовная опора? А сам всецело предает свою жизнь Тому, Кто устраивает наши судьбы. И как тепло звучит разговорная форма «нету» — это и рифма к «небу» (действительно, для неверующего ничего там нет, кроме воздуха), и форма, недопустимая в «правильной» литературной речи. Она не нейтральна, а бытует лишь в непринужденном общении — в разговоре, личной переписке и... в молитвенном порыве. А молитва — это как воинская присяга: ты и только ты держишь ответ перед небом, и бывают в жизни моменты, когда никто человеку помочь не может — рождается сам и умирает единолично...

В сборнике много философских размышлений, и некоторые из них выражены емким верлибром. Словно предчувствуя, что его собственная жизнь будет короткой и яркой, поэт пользуется развернутой метафорой для выражения ценностной категории:

Жизнь — это хрупкая чашечка, сделанная из фарфора.

В ней и хранится душа.

Эта чашечка может разбиться или потеряться.

Берегите ее.

Прячьте подальше от ветра и чужой руки.

Обратите внимание: Лукин говорит не о хрустале — это банально и отдает мещанством (как часто мы слышим: «носишься с собой, как с хрустальной вазой!»). И не о стекле — оно прозрачно и дешево, из него делают не только посуду, но и пипетки, вазы, пробирки, в общем, ширпотреб. Речь идет о благородном материале — фарфоре, который изготавливают вручную и медленно расписывают, аккуратно, чтобы не дрогнула рука. Кстати, на фарфоровые заводы устраивают экскурсии для всех желающих, но в цех росписи вход строго воспрещен. Это — таинство. На выходе получается дорогая чашечка, подарочная, украшенная золотой окантовкой. Ее стеночки просвечивают: из такой не будешь на работе кофеек прихлебывать. Именно этот материал более всего подходит метафоре «жизнь — дар», поскольку жизнь нам дается вкупе со многими талантами и способностями, и душевными качествами, развивая которые, мы обязаны (по замыслу Творца) украшать сами себя. И как же страшно потерять себя или — не дай Бог — совершить непоправимое...

Отдельно хочется сказать о прозаических произведениях. Им в книге отведено немало места, и это закономерно: с прозаическими публикациями в различных российских журналах Иван Лукин в 2016 году поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. В сборник вошла и неопубликованная проза, и снова, читая ее, испытываешь состояние, близкое к «вине выжившего»: стоп, мы не должны это читать, а раз читаем — давайте воспринимать прочитанное серьезно. Высокий символический статус любимой девушки подчеркивается в миниатюре-признании, так же величественно названной — «Любовь»: *«Когда она обижается, мне кажется, что все потеряно, что больше я не смогу жить. Я готов извиняться миллион раз за малейшую глупость с моей стороны, а извиняюсь я только перед дорогими мне людьми, перед теми, за чью жизнь я боюсь»*. Настоящая любовь — это уязвимость, взаимопонимание и поддержка. Все остальное — внимание, ответственность, забота и прочее — вытекает из этого.

А вот «Тапочки» — тяжелая история. Смерть в ней предстает и бессмысленной, и глупой. В народе про героя рассказанной таксистом истории говорят: «жизнь не красна — так и смерть не страшна». Между тем, история о душевнобольном — лишь присказка, самое важное сказано пассажиру после того, как молодой человек ошарашенно переваривал услышанное: *«Ты прости, если обидел, но я ведь эту историю не просто так тебе рассказал. Ты ведь думай, что говоришь и что делаешь, ведь каждое твое самое мизерное словечко, каждый шутиливый поступок может убить, а может и, наоборот, спасти»*. Далее таксист наставляет парня: *«И жизнь свою зря не трать, а то, как я, будешь — таксистом — или, еще хуже, будешь в одном тапке на шоссе валяться под пеленочкой»*. И вся проза, собранная под лаконичной обложкой этой книги — о том, как оставаться человеком в мире, где это, мягко говоря, не ценится. Кстати, рассуждая о произведении, которое сильно на него повлияло, Иван Лукин говорит о повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»...

Стихотворения, проза, фотографии, фрагменты из записных книжек... Сильное субъективное начало, помноженное на стройную организацию материала, делают эту книгу и целостной, и живой. Воспроизводя жизнь во многих ее проявлениях, Иван Лукин обращается к нам с прямою глубоко верующего человека. Талант Ивана, его светлая душа достойны быть востребованы современниками. Об этом сказал в заключительных строках этой книги поэт Сергей Арутюнов: «Премией его имени я бы награждал тех, кто уже в двадцать лет показывает, как нужно любить Отечество, как тосковать по нему и жертвовать себя без остатка».

Ольга ЕФИМОВА

**Вячеслав Харченко, «Русалка»
М.: Вест-Консалтинг, 2024**

Колумбийский философ Николас Гомес Давила писал: «Писатель, пишущий ясно, делает доброе дело, чему бы он не учил».

Вячеслав Харченко, вне всякого сомнения, делает доброе дело. Рассказы в его новой книге «Русалка» предельно ясны, можно сказать, прозрачны.

Крайностей в литературе много, конечно же, все они имеют право на существование и имеют собственных почитателей. Крайности могут заключаться в необоснованном нагромождении лирических образов, что выдается за «поэтичность», либо же в сухом повествовании, которое лишено какого-либо эмоционального начала и т. д.

Вячеслав Харченко избегает любых подобных крайностей, он выдерживает баланс между лиричностью, бытом, движением сюжета, юмором и философскими умозаключениями. Благодаря этому балансу каждый его рассказ читается с большим интересом. Лиричность не усыпляет, бытовые обстоятельства не утомляют, а философские размышления не кажутся беспочвенными. Все на своем месте, всему воздана должная мера.

Нельзя не отметить добрый юмор, от которого веет глубокой, но светлой печалью, а также мелодичность авторского языка. Именно с помощью языковой музыки нити рассказов Вячеслава Харченко сплетаются в одну целостную и органичную ткань.

Одно плавно перетекает в другое, например, лиричные описания в юмор:

«Нюта перевела взгляд на море. Ее лиловый шарф трепетал на ветру. От ветра Нюте было холодно. Она то и дело куталась в тонкую кожаную куртку, но, несмотря на теплую погоду, Нюта зябла.

Нюта задумалась на пару секунд и выпалила:

— Тогда едем на дачу Чехова.

Нестерпимо захотелось курить, а потом и выпить.

Дача Чехова находится в Гурзуфе. Что я забыл в Гурзуфе? Мне кажется, если бы Чехову предложили выбор: смотреть на море или ехать на дачу в Гурзуфе, он, безусловно, выбрал бы море».

Во многих рассказах данной книги иллюстрируется будничное общение между людьми, здесь хотелось бы отметить предельную искренность автора, которая, в свою очередь, не может не подкупать читателя:

«Жилец моей московской квартиры пишет:

— Вячеслав Анатольевич, я нашел ваши паспорт.

— Мой при мне, — отвечаю.

— Загранпаспорт.

...

— Вы бы его прибрали, — пишет жилец.

— Выкини его в мусорку, — отвечаю.

— Куда?

— В мусорку.

— Не могу, рука дрожит, — пишет жилец.

— Ну поставь на него сковородку, он просроченный.

— Я вам в тумбочку положу.

Вся моя жизнь — это одна большая тумбочка. Там в темноте лежит все то, о чем я мечтал, но так и не решился осуществить».

Своим взглядом писатель выхватывает из жизненного потока, казалось бы, самое обыденное, но подсвечивает это так, что оно становится очень важным — некой квинтэссенцией нынешней жизни.

Новая книга Вячеслава Харченко «Русалка», на мой взгляд, является одной из лучших книг современной малой прозы.

Павел ЩЕРБАКОВ

**Уильям Эрнест Хенли, «Избранные стихотворения»
М.: «Вест-Консалтинг», 2024**

Замечательный переводчик Алексей Юрьев знакомит нас с произведениями английского поэта Уильяма Эрнеста Хенли, к сожалению, мало знакомого русской читающей публике. А ведь это был удивительный человек! Мало того, что прекрасный поэт, так еще и пример неукротимой силы духа, как бы сейчас сказали, «мотиватор». Вы только представьте себе: человек страдает костным туберкулезом, часто лежит в больнице, лишился ноги. Впору громко жалеть себя, страдать и жаловаться на жизнь. Так поступили бы многие, но не Уильям. Он не только не терял надежды на лучшее, был неисправимым оптимистом, но и продолжал писать стихи. Огненная борода, буйный нрав и деревянная нога — типично «разбойничья» внешность веселого поэта оказалась до того яркой, что Роберт Стивенсон в своем романе «Остров сокровищ» в образе хромого пирата Джона Сильвера воплотил его черты (этому имеются документальные подтверждения, читайте письма писателя).

Столь суровый жизненный опыт не смог не отразиться на творчестве поэта. Он относится к смерти с почтением:

Внутри зимнего серого восторга,
Внутри летней позолоченной мечты,
Святая и возвышенная, и беспристрастная
Смерть, мать Жизни,
Смешивает всех людей навсегда.

Выглядит как романтизация смерти. Но нет.

Поэта восхищает дуализм, служащий основанием одного из главных законов бытия: там, где зарождается жизнь, появляется и смерть. Осознание хрупкости жизни и неотвратимости смерти толкает поэта возвеличить то, чего человек обычно боится, то, чего стремится избежать. Возникает парадокс: мы ассоциируем образ матери с понятием «жизнь». Мать — это не только та, что дает жизнь, но и олицетворение родного дома, безопасности, нежности и тепла. Но в данном случае роль дающего начала переходит к образу смерти, что пугающе справедливо: как бы мы ощутили подвижничество матери и радость проживания каждого дня, если бы не понимали, что сердце может перестать биться в любую минуту? Завтра, вечером, даже — о, ужас! — через час!.. Смерть присутствует незримо, гнездится внутри понятий, радующих человека, спит до поры до времени. При этом поэт признает этот страх, встречается с ним и смотрит ему в глаза. Смерть — великий уравнитель, и в этих строках читается как чисто человеческая боязнь неизбежного, так и христианское смирение: двум смертям не бывать, а одной не миновать...

Но Уильям Эрнест Хенли отнюдь не призывает читателя опустить руки. Рабская пассивность чужда его произведениям. Все, что угодно, только не это! Читая его произведения, кожей чувствуешь бунт и против смерти, и против калечащего душу уныния. Когда остаешься перед выбором — «жить комфортнее» или «жить скромнее», а по гамбургскому счету — «жить вообще» или нет, в человеке просыпается мощнейшая сила любви к жизни. Какой уж тут покой, когда в спину дышит старуха с косой... Даже встретиться с ней хочет-

ся не тихо-мирно, а так, как это делали английские мореплаватели, воины и путешественники — гордо и торжественно. Поэт характеризует море как пространство жизни, вечно пребывающее в движении:

Волнуется море, гремит
В славном и радостном хоре.
Меня схороните не в мертвой земле,
А в этом живом море!

Это ли не подлинное жизнелюбие?.. Рифмованный перевод, к которому мастерски прибегнул Алексей Юрьев, отражает своеобразную, практически музыкальную ритмичность этого стихотворения, энергию жизни, и, в конечном итоге, передает накал художественной информации. Великобритания, грозная повелительница морей, до сих пор не отошла от традиции хоронить своих подданных в морских глубинах. Правда, в текущем столетии делать это можно только в строго отведенных местах. Так что лирическому герою этого короткого (всего две строфы!) стихотворения, можно сказать, везет. Его последняя воля сбудется:

Эй, там схороните, вдали,
Где берег за тысячу миль от меня,
И с этим родным непокоем
Я буду един навсегда.

При переводе с английского языка на русский точное сохранение метра и ритма — трудное дело, ведь наши языки очень различны. Нелегко переводчику передать и бунтарский дух лирического героя. Во второй строфе Алексей Юрьев отступает от точной рифмы, дабы подобрать наиболее совершенный баланс между смыслом текста и четкостью созвучия, оптимального для русскоговорящих читателей.

Эта книга избранных стихотворений насыщена мрачными образами, но, вчитавшись внимательнее, читатель убеждается: за описаниями тяжелых жизненных ситуаций кроется не жалость человека к себе, а библейское понятие — стойкость. В этом контексте оно отражает мужество, долготерпение перед лицом испытаний. Поэт подробно и спокойно описывает пребывание в больничных стенах, анестезию, операцию... Так, стихотворение «После» из цикла «В госпитале» начинается с того, что человек выходит из наркоза, из состояния «малой смерти»:

Подобна огоньку, закутанному в дым,
Так сквозь анестезию жизнь видна,
Так появляется, так исчезает мысль моя —
Есть ступор и бороться трудно с ним.
И тошнота, и отвратительная сладость есть,
И лица странные — являются, чтоб исчезать.

Размеренный ритм текста подчеркивает состояние больного — неустойчивое, тяжелое, да и нахождение в госпитале — темная, мрачная сторона человеческой жизни. Смерть ощущается здесь отчетливее, чувство изоляции от внешнего мира нарастает, а будущее видится в черных тонах. И все же лирический герой Уильяма Эрнеста Хенли находит в себе силы хотя бы на секунду забыть о своей беде, почувствовать полноту жизни, что называется, «в моменте», преодолевая боль:

И моя душа, на миг, сквозь музыку
Вдыхает благословенную и проклятую
Атмосферу Лондона.

Алексей Юрьев знакомит нас и с балладами из цикла «Редкости». Жанр английской баллады предполагает конкретные понятия и четкие образы, повествование всегда сюжетно. Отсутствие абстрактных понятий придает стихотворениям из этого цикла эмоциональную напряженность:

Приделы храма или новые колоды карт,
Прохладный дерн и косы у наяд,
Оса поутру, море, а над ним звезда горит,
И слово чести или статуй мраморный наряд —
Я думаю о них, чтоб жить!

Это созвучно постулатам современной психотерапии. Радость жизни — навык, забытый многими. Именно в такое тяжелое время этот навык, которым еще в ушедшем столетии владел английский поэт, стоит в авральном порядке вспоминать и тренировать. Не сдаваться. Жить — вопреки всему. Алексей Юрьев подарил нам возможность заново познакомиться с поэзией Уильяма Эрнеста Хенли. Хочется верить, что русский читатель лучше узнает и по достоинству оценит творчество этого неординарного, очень интересного поэта начала двадцатого века.

Ольга ЕФИМОВА

**Вера Сажина, «Вторая книга»
М.: Издательство Евгения Степанова, 2021**

Вера Сажина — поэт, художник и певица. Награждена отметиной имени Давида Бурлюка Международной Академии Зауми. Выступает с поэтическими перформансами. Поет свои песни в группе «Небесные Землемеры».

«Вторая книга» поэтессы состоит из стихотворений, написанных с 1998 по 2011 год. На первый взгляд, они представляют собой некий поток сознания, который организован главным образом по фонетическим принципам, во всяком случае, звукопись, которая местами настолько выпукла, что кажется вполне осознанной, выступает организующим началом многих стихотворных текстов поэтессы:

Мне снилось
все оккультические науки
произошли от
АКУЛЫ
акулические

Звуковая игра с созвучиями «к», «у» и «л» в приведенном отрывке очевидна, ею объясняется выбор тех или иных слов и фраз во многих произведениях автора. В дальнейшем эти слова могут обрастать ассоциативными связями, казаться проявлениями сомнамбулических состояний лирической героини, но важно подчеркнуть, что первопричиной является именно звук. Еще один пример:

Повесила
мою (лапушку)
куклу
без пояса цагаанского
с рукой белой
с сердцем черным
с волосами
седыми.
Оставила ее
в другом лесу

Здесь можно отметить следующие аллитерации и ассонансы: «с», «е», «у».

Тексты Веры Сажиной являются явлением искусства скорее синтетического, то есть такого, в котором напечатанный текст не вполне самостоятелен без предназначенных ему дополнительных элементов, то есть предполагается синтез. В данном случае в роли такого элемента выступает весьма оригинальное авторское исполнение, перформанс. Это не умаляет интереса к подобному творчеству, но для более полноценного проникновения в суть лирики Веры Сажиной читателю необходимо учитывать то факт, что многие формальные

элементы поэтики данной лирики вытекают из движения сложных авторских голосовых модуляций.

Произведения Веры Сажиной похожи на заклинания, при этом в них ощущается дух свободы, одни элементы взяты от культуры хиппи, вторые от шаманизма, третьи от русского фольклора. Эта смесь создает уникальный мир автора.

Павел ЩЕРБАКОВ

Ольга Сульчинская, «69 стежков»
М.: Воймега; Ростов-на-Дону: Prosodia, 2023

Четвертая по счету книга Ольги Сульчинской — 69 стихотворений-стежков, тематически разнесенных по трем разделам (Лен, Шерсть и Шелк) — во многом продолжение и развитие «Волчка» (2013), а потому узнаваема по сложившейся звукописи:

Я стану тем, о чем нетрудно думать.
Я легче пуха: стоит только дунуть,
Да что там дунуть — маленькое «у»
Сложить непреднамеренно губами
— И я тону <...>
(«Я стану тем, о чем нетрудно думать».)

За кажущейся легкостью приведенного отрывка — характерное противопоставление стихий (здесь — земля и воздух) и одухотворение, воздухоплавание или движение по воздуху.

Еще в самом раннем сборнике «amor brevis» (2005), интересным своими набросками, моментальными фото удивленного замиранья (неважно, где это случилось) — упомянут воздушный змей, а следом — воздушный шар:

Моя душа как змей воздушный.
А ниточка в твоих руках.
Он ветреный и непослушный,
А ниточка в твоих руках.
(«Воздушный змей»)

Чудесное, ни на что не похожее существование сразу в двух стихиях восходит, наверно, к «Недоноску» Е. А. Боратынского, герой которого носится, как *крылатый вздох, меж землей и небесами*. По этой причине я бы назвал Ольгу Сульчинскую *мыслящим лириком* — ведь за внешним эротизмом у нее нередко стоит эзотерика, а за признанием — познание. Вот еще из самого раннего:

Потрогай здесь меня — и ты поймешь,
Что женщина всегда изнанка рыбы:
Все эти жабры, впадины, изгибы
И внутренностей шелковая дрожь...

Еще ты знаешь, что на вкус она
Чуть-чуть горчит, слегка солоновата
И розовыми каплями заката
Как будто изнутри освещена.

А там, снаружи, шорох чешуи
И плеск морской, и будущие мифы,
И где-то — берег... Корабли твои
Разбиты — и щепу швыряет в рифы.
(«Потрогай здесь меня — и ты поймешь...»)

Собственно, об онтологических изысканиях и самоанализе заявляет само название дебютной книги. Добавим к этому юмор — редкое качество, свойственное философу, плюс греческий пантеон, переносимый со своими мифами в современность: «Жизнь коротка, искусство вечно». Все это ширится, обрастает говорящими деталями в сборниках последующих. Яркие и противоречивые образы Апрельского ангела обретают равновесие, центростремительность в Волчке, а затем кристаллизируются, становятся монолитными и весомыми. Случайное отброшено, а неслучайное и закономерное — получает свое имя и глубину. Приведу одно стихотворение из Апрельского ангела:

Сверкая и поворачиваясь на
солнце, отражая соскальзывающие картины,
кусочек стекла из разбитого окна
устремляется вниз, как лезвие гильотины,
но — ни котенка внизу, ни ребенка: ни существа.
И — блещущими брызгами окатывает стену
предмет, возвращающийся в состояние вещества, —
и ничем больше не обязанный доктору Гильотену.*
(«Замедленная съемка»)

А вот совсем новое, созвучное ему, с именем «Кармен и розой в зубах» — уже не пустое стекло, но зеркало, вобравшее в себя место и время:

Зеркало падает. Зеркало долго летит,
Словно Кармен из зубов свою красную розу,
Не выпуская внезапно открывшийся вид
Неба за окнами. Словно ища в нем опору.
Дашь мне ладонь. Есть о будущем что рассказать.
Только вот сам ты едва ли готов к разговору.
Счастье — как слово, которое трудно сдержать.
Легче исполнить угрозу.
Зеркало падает. В окнах воздвигся закат.
Алым и белым представ изумленному взору,
Царское солнце воюет воздушную гору.
Блики скользят. <...>
(«Падение зеркала»)

* Здесь интересно сравнить с упоминанием врача и философа Гиппократ в первой книге.

Кажущаяся неровность Апрельского ангела, вполне, впрочем, объяснимая сопротивлением повседневности (о событиях бытовых здесь сказано довольно много), преодолевается в Волчке и сглаживается структурой новой книги, само название которой (69) — намек на вечное круговое движение противоположностей *инь* и *ян*, а три раздела (оставим за скобками *зиму*) — времена года.

Впрочем, Сульчинская живо откликается на события общественные, находя при этом исторических двойников... В следующем стихотворении (здесь уместно вспомнить «Их-то Господь — вон какой!» Т. Кибирова) опять же налицо прием противопоставления:

У нас правота — аж с пеной у рта,
У вас правота — ее нет ни черта.
Правота-право́ та, тошнота да рвота.
Послы в железной бане парятся.
Они по-своему неправы.
А князь в истории пиарится,
Творя веселые расправы.
Под голубиными застрехами
Шуршит горящая солома,
Но спички детям не для смеха, <...>
Березой тянет из предбанников,
Пируют в княжеских палатах.
Не жаль ни данников, ни странников,
Жаль только голубиных лапок.
(«Исторические заметки»)

Если в лирике ранней стихия захватывает с головой, не видно берегов и корабли разбиты в щепу о рифы, — новый лирический герой (или героиня), сетуя о несоответствии игры и правил, опять же — говорит о разных временах года:

Мы не знали чего-то: друг друга
Или правил во взрослой игре.
Ну давай, ну скажи мне, что вьюга —
Что столетняя стужа и вьюга,
А не лето — стоит на дворе.
Вразуми, растолкуй про метели,
Чтобы мне наконец постареть,
Не метаться по жаркой постели,
Разноцветные сны не смотреть, <...>

Спой мне, няня, про север и водку,
Отрезви мне дурные мозги
И Арго, небывалую лодку,
На предмет обогрева сожги.
(«Зима Медеи»)

А вот новое и любопытное противопоставление и смыкание двух категорий — детства и старости, где в земном прибрежном тумане, на зимующей земле возможны встречи душ уходящих и приходящих:

Приходит мальчик с палочкой в руке —
В сандаликах набившийся песок —
И палочкой он чертит на песке:
Он пишет миру, как он одинок.
Забыл про маму — что вернется к ней,
А здесь темно и не с кем поиграть.
И вечера боится он сильней,
Чем взрослые боятся умирать.
Вот барбарис, он кисленький на вкус,
И, если хочешь, вот моя рука.
Не бойся, милый, я сама боюсь.
А жизнь и вправду страшно велика.
(«Когда темнеет»)

Или, когда память, обходит время и место как бы спиралью, вдруг увлажняет переводные картинки, загадывая загадку: «Что значит жить не старея, не умирая?»

Искусство вечно — заявляет первая книга, а новые стихи подтверждают догадку:

Сквозь меня протекают народы,
Шевеля плавниками веков.
Тяжелы и курчавобороды,
Ассирийцы проводят быков.
В уши лезут, скрипя, колесницы,
Шумно дышат верблюды в раю.
И сознание, теряя границы,
Покидает отчизну свою.
Кто-нибудь, поднимите мне веки.
В сухожилиях шумеры хрустят,
Беспокойные древние греки
На моем языке говорят.
(«Древний сон»)

Взросление, а, значит, детализация, следование плану, *правилам* — это еще и свидание на главной площади под часами, где в минуты ожидания герои *волнуясь, изнывая, трепеща*, сами становятся сказочными персонажами. Здесь у Золушки ломается каблук, карусель носит хохочущего мальчишку, когда девочка засыпает над книгой. Здесь на площади Звезды (из Олеси) канатоходец Тибул движется по воздуху по нити-канату, здесь он *под прицелом* пробегает *над толпой*.

Свидание возможно и на *Площади Революции* в московском метро или на площади *у собора Святого Петра* в Риме (оба города — столицы). Наконец, это может быть обычный перекресток, где прикуривает на ветру подросток в пальто. Важно то, что здесь:

<...> прошлое скрещено с будущим — так провода
Чертят в небе косые квадраты;
Презирая боязни паденья озноб сладковатый,
Взгляд идет без оглядки туда. <...>
(«Площадь Звезды»)

Новую книгу отличает еще раздел (Шелк), почти целиком посвященный путешествиям, психоанализу и открытию неведомого (как не вспомнить гумилевских «Капитанов»). Это перешагивание календарных дат (Новый год), полеты по воздуху, плавания, новые города и павшие империи.

А еще — редкий для автора верлибр, в котором ученик старательно поднимает руку, а учительница, думая, что он знает ответ, его вызывает.

На самом деле, мальчик просто хочет выйти, что и делает под смех одноклассников. Оказавшись за дверью, где никого нет, где разорваны связи, симпатии, обусловленности, планы, — он собирает себя заново, строит мир по-своему, забывает заученное и заостряет собственную правоту поэта, начитает учиться сам — обозревать перспективу и держаться нити судьбы.

Герман ВЛАСОВ

**Сергей Попов, «Прямая наводка»
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2024**

Новая книга известного поэта Сергея Попова «Прямая наводка» состоит из следующих шести разделов: «Лукавая буква», «Никотиновая любовь», «Оголтелая луна», «Ход конем», «Люди, звери, острова», «Страшно сказать». Каждый раздел состоит из семи-девяти стихотворений.

Наиболее интересным мне показался финальный раздел книги — «Страшно сказать». В одном из лучших стихотворений этого раздела Сергей Попов размышляет о вопросах творчества, о человеческой судьбе.

Автор констатирует противоборство человека и языка:

Страшно сказать и забавно смотреть,
как пререкаются слово и плоть.
Небокопченья последняя треть
всякую чушь подвигает молоть.

Поэт вынужден заговаривать пустоту даже тогда, когда, казалось бы, все уже сказано и нет необходимости писать, чтобы сообщить нечто внятное на рационально-обыденном уровне. Пусть это будет едва разборчивое бормотание, но убийственная тишина не оставляет поэту выбора:

сказано все — отдыхай да толстей,
но тишина пробирает насквозь.

И чтоб не выдалось раны сквозной,
крови несметной, дурацкой беды,
необходимо и в холод, и в зной
новый объем выдавать лабуды.

Сергей Попов как бы встает на точку зрения обывателя и называет чушью и лабудой то, что для определенного рода поэтов, в том числе и для самого автора книги, дороже «времен и падежей», то самое заговаривание, бормотание:

...по зазимкам пустую печаль
испеляют ля-ля тополя

Эти ля-ля тополя — «банальности» «Песен без слов» Анненского, о которых писал Георгий Иванов:

Все банальности «песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилёв

Финал стихотворения подытоживает размышления Сергея Попова о собственной судьбе, вывод довольно суров:

Жидкая россыпь подержанных роз,
зимней отчизною брошенных в гроб.

Этот вывод отсылает нас к куда более оптимистичным строкам Игоря Северянина:

Как хороши, как свежи будут розы
Моей страной мне брошенные в гроб!

В книге Сергея Попова много бойких и афористичных строк, в них поэт с утвердительной интонацией являет свои взгляды на человеческую жизнь и мироустройство. Подобные сентенции встречаются на протяжении всей поэтической книги и характеризуют философичный характер представленной лирики, а за счет своего ритмико-интонационного построения они легко остаются в памяти:

Но правоту нести как зная
легко у неба на виду –
ее материя сквозная
не подответственна суду.

* * *

...наука прошлого сторониться
одолима хуже иных на свете.

* * *

...на соблазнительной планете
от сумы рукою до тюрьмы.

Но лирика Сергея Попова не исчерпывается подобной глубокой философичностью, она также наполнена истинной поэтической красотой, в которую, по моим ощущениям, автор вкладывает всю свою душу:

По пятам запальчивого смеха
со слезами-вспышками внахлест
бродит неуступчивое эхо
среди опавших к заморозкам звезд.

Павел ЩЕРБАКОВ

**Юрий Казарин, «Боль»
М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2024**

Боль, адски звенящее слово, настолько сопряженное с земной жизнью, увы, что не избавиться от ее игл никак...

«Боль» — новая книга Юрия Казарина, вышедшая в серии Библиотека журнала «Дети Ра» — загорается интенсивно, мощно, своеобразно; и каждое краткое стихотворение вспыхивает особенным, неповторимым интеллектуальным орнаментом:

Только увижу тебя — сразу заплачу.
Целый день плачу и пью небесный рассол.
Трогаю свои руки — плачу.
Трогаю воздух — плачу: он горек и умирает
от горя, если не трогать его.
Птица летит рядом и смотрит
тебе в глаза. И всей тайгою
трещит стрекоза. Не смотри на нее —
заплачешь. Посмотри на нее —
заплачешь. Душа тайги
хочет увидеть тебя —
и заплакать.

Своеобычно-необычно — будто угловато — чтобы острые углы точнее взрезали сознание и внимание читателя; но... сложенные вместе, углы стойко организуют специфику гармонии, удивительную целостность стиха, когда и процитировать не знаешь что: стихотворения следует приводить полностью.

Необыкновенная одушевленность всего: воздух (и горек, и умирающий от горя) словно дает ленты новой метафизики, связанные с восприятием реальности.

Вглядывается поэт в лица, но это — лицо земли... лицо небес:

Лицо земли, лицо небес —
лик пустоты, мороза полный,
изрезан леской рыболовной,
как паутиной этот лес,
продутый звездами навстречу
глазам, где карий перелом,
и губы, брошенные речью,
дрожат, натянутые льдом,
и слышно песенку овечью,
почти — от горя — человечью,
последней болью о живом.

Сложно работают механизмы стихотворений Казарина: одно цепляется за другое, но словесные шестерни, соединяясь в движении, рождают то ощущение неповторимости, какое всегда сопровождает чтение стихов поэта.

...Словно — сдвигаются на чуть-чуть ощущения; и в этом сдвиге таится постижение потусторонних вариантов психики, проявляющихся в посюсторонней жизни:

Страх вырастает в ужас, чтоб испариться,
дьявола пот с серебром, золотая водица,
трогает глину лица твоего:
птица вспорхнула — и нет ничего.

Произведения Юрия Казарина насыщены, как виноградная гроздь, и пестры необычайно: вспыхивают цветы цветов, тонко играют оттенки, полутона проходят по строчкам, переливаясь... то радужно, то пепельно.

Таинственность присуща созвучиям Казарина:

И воду серую вспороть
слезою, горечью, страданьем:
свет возвращает миру плоть
и первый снег берет в щепоть —
и плачет зренье мирозданьем.

Свет здесь ключевое слово. Его вертикаль и должна вести, но свет не рифмуется с болью — противостоит ей.

Вибрирует звукопись, глухо перекликаются «п», звонкими раскатами разносятся зигзагообразные «з».

Необычность эпитетов — из глубин ощущений... Словно из бездн:

Имя времени — имя твое.
Ты на речке полощешь белье

между небом и сивой водою
с травяной бороною.

И поешь, утирая уста:
давит в губы твои высота,
тяжелея от близкой разлуки,
словно звуки
выше смерти моей и моста
заломили прозрачные руки.

Мощно — о любви; имя любимой приравнено имени времени; и прозрачные руки звуков так впечатываются в мозг, что опыт читающего увеличивается сакральною силою слов. Сюрреалистические, если не абсурдные, краски проступают, светясь:

Дерево выходит из человека легко.
Плачет сначала. Потом шумит
все разом — так сердце болит
и умирает десятилетиями,
если вообще умирает,
распространяясь в небе, как снег,
сгущаясь в тебе, как мысль,
как чувство,
которые клубятся волнами, дельфинами
и слезной солью...

Образы сгущаются; словно заново, как в детстве, постигается мир, расположенный между светом и болью.

И хоть книга названа «Боль» — света в ней ощутимо больше.

Александр БАЛТИН

Тираж 500 экз.
Отпечатано
в ООО «Вест-Консалтинг»,
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12.